

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://nekrasovvictor.ru/> Приятного чтения!

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

– 1 –

Трамваи ходили редко и были так переполнены, что Николай со своей раненой рукой предпочел идти с вокзала пешком. День был солнечный, яркий, и после шести дней тряски в душном эшелоне пройтись по улице было даже приятно.

Дойдя до Владимирской, Николай почувствовал легкое головокружение – он отвык от ходьбы – и присел на ступеньки возле аптеки.

Напротив, через улицу, под козырьком из фанерного листа бойко торговал мороженым и водами веселый, громогласный продавец. Покупатели то и дело подходили к нему.

Николай, посидев, тоже подошел. Продавец дружески подмигнул, указывая глазами на подвязанную к лангетке руку Николая.

– С фронта небось, товарищ капитан?

Николай кивнул головой.

– Может, тогда сто грамм прикажете?

– Нет, не надо.

– А то хорошая, «Московская»...

– Нет, не надо, – ответил Николай, чувствуя, что после третьего предложения он уже не сможет отказаться.

– Напрасно, товарищ капитан, ей-богу напрасно. В вашем возрасте я не отказывался.

Продавец был явно расположен разговаривать, но Николай выпил свой стакан воды, расплатился и пошел дальше.

Возле шестиэтажного углового дома Николай остановился. Закурил. Дом был сожжен. Сквозь пустую витрину молочного магазина – еще вывеска сохранилась – видны были груды обгорелого кирпича и на них две застывшие друг против друга кошки – черная и рыжая.

«Фу ты, кошки...» – подумал Николай и быстро, чтоб они не перебежали дорогу, свернул за угол.

Соседний с угловым, двадцать четвертый номер, тоже был сожжен. На стене у входа еще виднелись надписи, сделанные мелом. Из них только две можно было разобрать; «А. Вайнтрауб живет на М. Васильковской, 16, кв. 3» и «Гуревы – Жиланская, 6». Остальные за год стерлись.

До войны Вайнтраубы жили в пятнадцатой квартире. Николай их хорошо помнил: муж, жена и восьмилетний мальчик Жора. В обеденный час мамаша высовывалась из окна и кричала на весь двор: «Жора, Жо-ора!» Это длилось очень долго, так как Жора никогда не слышал, а когда слышал – убегал на задний двор. Гуревых Николай не помнил.

Некоторое время Николай стоял перед домом и, задрвав голову, смотрел на пятый этаж. Маленький тополь, росший из трещины балкона, за эти три года так вырос, что стал уже вровень с перилами. Сквозь окна было видно небо и изогнутые железные балки.

Из ворот вышла женщина с корзинкой и торопливо пошла вниз по улице.

«Флигель, вероятно, цел», – подумал Николай и вошел в ворота. Первый флигель был сожжен, второй сохранился. Через весь двор была протянута веревка, на ней сохло белье, а рядом на табуретке сидела старушка и чистила картошку. Николай подошел

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
и спросил довольно спокойно:

– Простите, бабушка, вы и до войны жили в этом доме?

Бабушка вздрогнула и испуганно посмотрела на Николая.

– А?

– Я спрашиваю: вы и до войны жили в этом доме?

– В этом доме? Нет, нет... – Она с испугом смотрела на его перевязанную руку. – Нет, мы в восемнадцатом номере жили. Здесь с ноября только.

– Я о жильцах одних хотел узнать, – сказал Николай и, заметив, что старушка плохо слышит, повторил погромче: – О жильцах спросить хотел...

– Не знаю, не знаю... – Старушка замотала головой. – Мы здесь только с ноября живем, как наши пришли.

Она тревожно глянула на развешанное белье, потом на Николая, словно проверяя, не взял ли он чего-нибудь.

– Не знаю, не знаю... Мы здесь с ноября только живем... – в третий раз сказала она и опять принялась за картошку.

– Вы кого ищете? – раздался за спиной Николая женский голос.

Николай обернулся. Невысокая, очень худая женщина, в калошах на босу ногу, с мусорным ведром в руке, внимательно смотрела на него.

– Вы из какой квартиры? – спросила она и поставила ведро на землю.

– Из семнадцатой, – ответил Николай.

– Митясов ваша фамилия?

– Митясов...

Женщина серьезно, без улыбки смотрела на него.

– Ой-ой-ой, как вы изменились! Такой молоденький были, а теперь... – Она, как и все, посмотрела на его повязку. – Ранены? Да?

– Как видите.

Женщина покачала головой.

– Ужасно как изменились... Просто ужасно, – она сочувственно покачала головой. – Вот вы меня не узнаете, – Николай действительно никак не мог ее припомнить, – а я сразу узнала. У вас, я помню, еще собака была.

– Была. Рыжик. Щенок. Ему и года еще не было.

– И ваш сынишка прогуливал ее еще в этом дворе.

– Нет, у нас детей не было. Это не наш сынишка.

– Разве не было? А мне казалось, что был.

– Нет, не было. Это соседский, Смирновых...

Они помолчали. Николай ждал, что женщина еще что-нибудь скажет, но она молчала и только сочувственно, очевидно уже машинально, качала головой.

Подошел мальчик лет восьми и, раскрыв рот, стал смотреть на Николая.

– А про Шуру вы ничего не знаете? – спросил Николай, не глядя.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Женщина зачем-то развязала и опять завязала платок на голове.

– Они, кажется, при немцах оставались? – спросила она.

– Оставались. У нее мать больная была.

Женщина почему-то вдруг оживилась.

– Да-да. Старуха умерла. У нее, кажется, рак был.

– А Шура?

– Шура? – Женщина задумалась и опять поправила на голове платок. – Шура сейчас здесь не живет. Она на Жилинской, кажется, живет.

– Не... В тридцать восьмом номере вовсе, – сказал мальчик и опять раскрыл рот.

Николай пристально посмотрел на него.

– А ты откуда знаешь, о ком мы говорим?

– Знаю, о тете Шуре, что в семнадцатой квартире жила.

– А теперь, значит, в тридцать восьмом? Ты точно знаешь?

– Точно. С улицы, на третьем этаже. Я ей раз помогал дрова нести. У нее тогда рассыпались, а я помог собрать. И нести помог.

– Это четвертый или пятый дом от угла, – сказала женщина. – Там, где примусная мастерская. Теперь я вспомнила, она туда переехала, – и улыбнулась, – не в мастерскую, конечно, а в дом.

Николай тоже улыбнулся.

– Ну, спасибо, большое спасибо, – и торопливо, точно боясь, что его задержат, зашагал по направлению к улице.

Женщина некоторое время смотрела ему вслед, опять покачала головой, потом взяла свое ведро и, шлепая сваливающимися с ног калошами, пошла к мусорному ящику.

Николай быстро шел по улице и смотрел по сторонам. Прошли мимо две девушки и обернулись. Николай тоже обернулся. Девушки рассмеялись. Николай расправил складки гимнастерки. Она была коротенькая, выцветшая, с наполовину оторванным и засунутым за ремень рукавом. Широкие маскировочные шаровары, рука на перевязи – вид не совсем обычный для тылового города. Прохожие оборачивались. Николай невольно поймал себя на том, что это ему даже приятно.

Дойдя до угла, он увидел парикмахерскую и вспомнил, что надо побриться. Парикмахерская была та самая, в которой он брился еще до войны. Николай зашел. Парикмахер, новый, узкоплечий, с копной удивительно мелко вьющихся волос, с презрительно-скучающим выражением лица чистил ногти, развалившись в кресле. При виде вошедшего сразу вскочил.

– Усы и бачки сбреем? – неожиданно весело спросил он, бросая под стол грязную и вынимая из ящика свежую салфетку.

– Сбреем, – сказал Николай и посмотрел на себя в зеркало.

Он давно не видел себя в таком большом красивом зеркале. Оказалось, что лицо его стало совсем медным от загара, брови и ресницы выгорели, а отпущенные от нечего делать в госпитале усы и баки выросли почему-то рыжими. Лицу они, безусловно, придавали лихость, но в то же время явно старили. Николай решительно повторил:

– Сбреем, ну их...

Парикмахер спросил, где и как Николая ранило и скоро ли наши будут в Варшаве. Николай отвечал и чувствовал, что к ответам его прислушиваются. Даже кассирша – пышная, полногрудая девица с сонными от жары глазами – вылезла из-за загородки,

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
чтоб лучше слышать.

Парикмахер стал брить усы. Николай не мог отвечать на вопросы и, следя в зеркале за движениями парикмахера, старался припомнить, как выглядит тридцать восьмой номер, о котором говорил мальчишка во дворе. Сначала ему показалось, что это тот большой серый дом, в котором была мясная лавка. Затем, – что маленький, двухэтажный, с обваливающимся балконом. Потом вспомнил, что маленький – это тридцать четвертый, серый – тридцать шестой, а следующий за ними, – он не помнил какой, – но помнил, что перед ним рос старый, дуплистый вяз с кучей вороньих гнезд, под которыми тротуар всегда был белым. Очевидно, это и есть тридцать восьмой.

Николай стал думать о Шуре, но сразу же постарался отогнать эту мысль: Шура почему-то представилась ему похожей на ту женщину из двадцать четвертого номера – худой, поблекшей, с морщинками возле глаз. Чтоб не думать об этом, он стал рассматривать в зеркало пышную кассиршу, которая опять забралась за свою перегородку и от жары и безделья клевала носом.

Парикмахер сделал компресс, массаж, запудрил все лицо, отчего оно стало розово-лиловым, и, стряхнув последние волоски, сказал:

– Ну что? Правильная работа?

– На десять лет помолодели, – сказала из-за своей загородки кассирша, – жена не узнает.

– Узнает, – рассмеялся Николай и еще раз, издали, посмотрел на себя в зеркало. Если б не белесые, выгоревшие брови и слишком широкий нос, он совсем был бы собой доволен.

Он заплатил лишнюю десятку и вышел. Парикмахер, прощаясь, усиленно приглашал его заходить почаще.

– 2 –

Тридцать восьмой номер оказался именно тем домом, о котором подумал Николай. Вяз по-прежнему стоял на своем месте, и по-прежнему над ним вились вороны, а на тротуаре белели пятна. Дом был пятиэтажный, кирпичный. Маленькие тонконогие девочки, отчаянно визжа, играли на тротуаре в «классы».

Переходя с противоположной стороны, Николай посмотрел на окна третьего этажа (мальчик говорил, что на третьем этаже) и решил, что второе справа, с беленькой занавеской, из-за которой выглядывал фикус, и есть Шурино.

Николай вошел в парадное и по темной лестнице, с забитыми фанерой окнами, поднялся на третий этаж. Там оказалось две двери, одна против другой. На правой висела бумажка с указанием, сколько кому стучать. Фамилия Митясовой на ней не было. Николай постучал в дверь напротив. Где-то в глубине, очевидно на кухне, слышны были голоса, но никто не открывал. Он постучал еще раз. Никто не подходил.

«Если и сейчас не откроют – значит, все в порядке», – загадал Николай, и в ту же секунду донесся далекий женский голос:

– Эмма, слышишь же, стучат! У меня руки мокрые...

Не дожидаясь Эммы, Николай торопливо постучал третий раз, и за дверью раздалось веселое детское: «Сейчас, сейчас!..»

Дверь отворила девочка лет двенадцати.

– Вам кого? – спросила она.

– Скажите, Митясова здесь живет? Или Вахрушева, может быть?

– Александра Павловна?

– Александра Павловна.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Здесь. – Девочка повернулась в сторону кухни и крикнула: – Мама, это к тете Шуре.

Из темного коридора, вытирая руки об юбку, вышла женщина с озабоченным лицом.

– Что ж ты свет не зажигаешь, Эмма? – Девочка повернула выключатель. – Вы к Александре Павловне?

– Да.

– Ее нет дома.

Женщина вопросительно смотрела на Николая, придерживая одной рукой дверь. Николай по-прежнему стоял на площадке.

– Вы хотите ей что-нибудь передать? – спросила женщина.

– Нет... То есть... Я хотел ее видеть.

– Но ее сейчас нет дома. У нее замок висит на двери.

Женщина почему-то не приглашала его войти, и Николаю пришлось самому сказать, что он хотел бы дождаться Александру Павловну.

– Ну что ж, – сказала женщина, – пройдите тогда на кухню. Эмма, покажи.

Женщина пропустила в дверь Николая, и он пошел вслед за Эммой по очень длинному и темному коридору.

На кухне шипело три или четыре примуса. Эмма сняла с табуретки таз с мыльной водой. Николай сел. Эмма подкачала один из примусов и, так ничего и не сказав, ушла.

Потом пришла женщина с озабоченным лицом. Она, очевидно, почувствовала какую-то неловкость в том, что офицер, к тому же раненный, сидит на кухне, и предложила Николаю перейти в комнату, хотя у них там и беспорядок. Николай сказал, что, если он не мешает, ему и здесь хорошо, и спросил, когда приходит обычно Шура.

– По-разному, – ответила женщина, мешая что-то в кастрюле и стоя к нему спиной. – В три, четыре, пять... Иногда и поздно вечером.

Помолчав, она спросила:

– А вы что, родственник ее или знакомый?

– Родственник, – ответил Николай.

Женщина потушила примус и ушла.

Зашли и ушли, ничего не говоря, но с любопытством взглянув на Николая, еще две женщины. Потом вбежал на кухню очень хорошенький мальчишка лет пяти, курчавый, светлоглазый и общительный. Его сразу заинтересовала повязка.

– У дяди Феди тоже такая была, – сказал он, – только не тут, а тут. Он на костылях ходил. Вы ходили на костылях?

– Нет, не ходил, – ответил Николай.

Мальчик старательно поковырял в носу и опять спросил:

– А почему у вас одна Красная Звезда?

– Не заслужил больше.

– У дяди Феди две. И такая медаль, как у вас. И еще одна. На ней винтовка и шашка. Как вас зовут?

– Дядя Коля. А тебя?

– Вова. Вы к тете Шуре пришли?

– К тете Шуре.

– А зачем?

Николай рассмеялся.

– Хочу на нее посмотреть.

Вова сел на корточки, провел пальцем по сапогам Николая и сказал:

– Принести щетку?

Николай улыбнулся:

– Вот это ты правильно заметил, Вова. Валяй-ка, принеси.

Вова застучал голыми пятками по коридору и через минуту принес старую, облезлую сапожную щетку. Николай почистил сапоги. Вова сосредоточенно за ним следил, сидя рядом на корточках.

– А зачем вам надо на тетю Шуру смотреть? – спросил он.

– Да просто так, хочется.

– А ее столик вы знаете какой?

– Какой столик? – не понял Николай.

– Как какой? У всех тут есть столик. Показать?

– Ну, покажи. Или нет: я сам угадаю. – Николай оглядел кухню. – Вот тот? Да?

– Ага. А откуда вы знаете?

– Угадал.

Николай подошел к столику. Он был очень чистый, опрятный, покрыт свежей клеенкой. Стояло несколько кастрюлек, повернутых вверх дном, горшочек с солью. Справа, на приделанной к стенке полочке, тоже покрытой клеенкой, лежало мыло, две зубные щетки и бритвенный прибор с помазком.

– А это чье? – спросил Николай.

– Что? Щеточки? Красная – тетя Шуры, а желтая – дяди Феди. Нельзя ж одной щеткой чистить зубы, правда?

– Нельзя, – сказал Николай и подошел к окну. – Конечно, нельзя.

Внизу, на дворе, двое парней пилили дрова. Несколько минут Николай следил за мерно раскачивающимися фигурами, потом, не оборачиваясь, спросил, давно ли дядя Федя здесь живет.

– Как давно? – удивился Вова. – Всегда. Мы из Уфы приехали, он уже жил... Вы умеете в крестики и нолики играть?

– Нет, не умею.

Николай провел рукой по шелковистым Вовиным кудряшкам и направился к выходу.

– 3 –

Очень молоденькая и очень тоненькая сестра с подхваченными марлевой косынкой волосами сидела у окна в приемном покое и читала растрепанную, пухлую книгу.

– Вам надо еще в центральный распределитель сходить, – сказала она, взглянув на Николая и не притрагиваясь к протянутым ей бумагам.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Зачем? – спросил Николай. – Мне сказали прямо в Окружной госпиталь идти.

– Нет, у нас так не принимают. Обязательно нужно через распределитель. – Она посмотрела на него снизу вверх и чуть-чуть улыбнулась. – Ведь вы с фронта, да?

– Так точно, – ответил Николай.

– С фронта все через распределитель. Это на Красноармейской, пятьдесят шесть. У нас только по направлениям Округа.

Он молча взял свои бумаги и стал запихивать их в планшетку.

– Простите, – сказала вдруг девушка, – дайте мне их на минутку.

Она вышла и почти сразу же вернулась.

– Знаете что? – Она глянула на часы. – Сейчас начало девятого. В десять часов придет майор Свешников. С ним всегда можно договориться. Приходите к десяти.

– Спасибо.

– Температура у вас нормальная?

– Спасибо. Нормальная.

Николай кивнул головой и вышел.

На перилах госпитального мостика, у массивных в виде арки ворот, – госпиталь был старинный и походил больше на крепость, чем на лечебное учреждение, – сидели, болтая ногами и покуривая, раненые.

– Эй, браток, с какого прибыл? – крикнул кто-то из них, но Николай не расслышал и молча прошел мимо.

– Не приняли, должно. В распред послали. Всех они в распред посылают...

Дойдя до старого вала, Николай остановился. Солнце садилось, и сквозь зелень тополей был виден город, освещенный косыми лучами. В воздухе пахло мятой, свежескошенным сеном. Где-то неподалеку, совсем как в деревне, грустно мычала корова. Стоял ясный, тихий августовский вечер.

Николай вынул кисет и сел под топодем. Это был старый, раскидистый, потерявший свою былую стройность тополь.

Прямо под валом расстилалось зеленое поле стадиона, а за ним, невероятно рельефные и четкие в вечернем освещении, громоздились друг на друга дома среди густо-зеленых, кое-где только начавших золотиться осенних садов. Чуть правее ярко-белым пятном на фиолетовом вечернем небе выделялась колокольня Софийского собора. Левее крепкой, точной линией вырезывался горизонт с разбросанными маленькими постройками на пологих холмах и почти черной линией дальних лесов.

Отсюда, с высоты, совсем не было видно, что город разрушен. Он казался таким, каким был всегда, каким помнил его Николай пять, десять лет тому назад. Только купол на соборе был тогда не красным, а золотым и стадион не имел такого заброшенного вида, как сейчас.

Солнце давно уже село, погас крест на колокольне, город стал плоским и расплывчатым, только линия горизонта по-прежнему четко и ясно огибала его. Подул легкий ветерок. Зашумели тополя.

Николай посмотрел на часы. Было всего лишь девять часов. Он встал, отряхнул траву с брюк и пошел вниз по Госпитальной улице.

Улица упиралась в базар. Несмотря на поздний час, торговля шла полным ходом. Иногда где-то раздавались милицейские свистки, и торговки, подхватив свои корзины, забивались во дворы, но через минуту все опять выползло на улицу и растекалось среди рундуков и киосков.

Николай зашел в закусочную – он с утра ничего не ел. В закусочной было накурено и тесно. На стойке горела большая керосиновая лампа, и на двух столиках стояли свечи. Николай взял двести граммов свиной, называемой почему-то домашней, колбасы, хлеба и кружку пива.

Три столика из четырех были заняты. За четвертым сидел хмурый человек с подвязанной щекой и ел винегрет. Николай подсел к нему и отхлебнул пива, – оно было теплое и противное. Хмурый человек ел молча, быстро, не глядя на Николая. Потом он встал и ушел. На его место сел другой – светловолосый, румяный, с маленькими закручивающимися усиками. На нем была песочного цвета – очевидно, иранская, подумал Николай – гимнастерка с расстегнутым воротом, обнажившим загорелую шею. Военная фуражка с голубым околышем сдвинута была на затылок.

Парень поставил на стол две бутылки пива и сразу же, привычным жестом, ударив о край стола, сбил с них металлические пробки.

– Никогда не бери бочкового, – сказал он, смахнув на пол пену. – Только жигулевское. И только четвертого завода. У фирки всегда есть.

Его быстрые серые глаза остановились на руке Николая.

– Дать полтора за Лонжин?

– Что? – не понял Николай.

– За Лонжин, говорю, полтора куска дать?

– Я не продаю часы, – сухо ответил Николай.

Светловолосый повернулся и, как свой в этом заведении человек, крикнул через головы соседей хозяину:

– Фима, налей два по двести.

На столе появилось два стакана. Парень подвинул один Николаю.

– Поддержи, капитан. – И, не спрашивая, взял с тарелки Николая ломтик колбасы. – С Первого Белорусского?

Николай кивнул головой.

– Ну, как там наши?

– Ничего, воют.

Парень глянул на перевязанную руку Николая.

– Перелом?

– Перелом.

– Пальцы работают?

– Нет.

– Знакомая картина. Нерв. Тебя где ранило?

– В Люблине.

– Ничего, заживет. Будь здоров. – Парень выпил и сморщился. – Хороша!

Николай тоже выпил. Водка была крепкая, захватывала дух.

– По особому заказу, – сказал парень и улыбнулся. Передние зубы у него оказались металлическими.

Он стал расспрашивать о последних событиях на фронте. Потом, посмотрев на



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
стаканы, подмигнул:

– Еще по одной?

– Погоди, – сказал Николай, чувствуя, что с непривычки захмелел.

– Можно и подождать, – согласился парень, – нам торопиться некуда. Ты отсюда куда?

– В Окружной.

– К Гоглидзе?

– Как? – не понял Николай.

– К Гоглидзе, говорю? Мировой хирург. Я его знаю. Лучший в городе. Если перелом, к нему попадешь, как пить дать... Слушай, я все-таки еще возьму.

Парень встал и почти сразу же вернулся с двумя стаканами и порцией сыра.

За соседним столиком оживленно спорили о каком-то судебном деле. Парень крикнул:

– Прекратите дискуссию. Надоело.

За столиком стали говорить тише. Доносились отдельные фразы: «А прокурор как встанет... Я ж Сашке говорил, стервецу... А прокурор как встанет...»

Входили и выходили какие-то люди. Когда дверь отворялась, с площади доносился хриплый голос, певший по радио «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...» Дверь закрывалась, и опять настойчиво лез в уши разговор о прокуроре, потом снова открывалась, и с улицы доносилось «...немно-о-ого поспят...»

Николай посмотрел на своего соседа: тот, смеясь и поминутно сдвигая то на затылок, то на лоб фуражку, о чем-то оживленно говорил.

– Ты женат? – спросил вдруг Николай.

Парень удивленно на него посмотрел.

– Нет. А что?

– Просто так. Интересно.

– Нет, не женат.

Николай рассеянно посмотрел на него, потом залпом выпил свой стакан и встал.

– Мне идти надо.

– Куда?

– Надо...

– В госпиталь? Подождет, не убежит.

– Да не в госпиталь, черт с ним...

Николай вдруг почувствовал, что у него кружится голова, и, чтобы не упасть, схватился за стол. Парень удержал его за руку.

– Садись, черт, куда сейчас идти? Тебя и ноги-то не несут, герой...

Николай сел. Расстегнул воротник. Парень принес бутылку нарзана и налил в стакан.

– Пей. Легче станет.

Николай выпил.

На противоположной стене висел плакат – женщина с довольным лицом указывала рукой на какие-то стулья, столы, зеркальные шкафы. Николай никак не мог понять, что это значит. Потом прищурил один глаз и прочел надпись: оказывается, женщина, скопив деньги в сберкассе, купила на них всю нарисованную обстановку и рекомендовала всем поступать точно так же.

– Что? Соблазнительно? – спросил парень, перехватив его взгляд.

– Плевал я на это, – мрачно сказал Николай.

– И правильно, и плюй. Не обращай внимания. Это главное. Это самое главное – не обращать внимания.

– На что?

Николай медленно повернулся и посмотрел на парня: тот сидел и крутил пальцами ус.

– На все! Как я. Иначе свихнешься. Можешь мне поверить. У меня вот фрицы стариков и двух братьев на тот свет отправили. Понял? А я вот под трамвай не бросаюсь. Один инженер, другой полковник. В двадцать пять лет – и полковник. А? Не то, что мы с тобой. Ты кем на гражданке был?

Николай пожал плечами.

– Д-два к-курса физкультурного института.

Парень протянул руку, на ней не хватало пальца.

– Дай пять. Два сапога пара. – Он зло рассмеялся, сверкнув вставными зубами. – Будем знакомы. Сергей. Человек без профессии.

Он вынул из кармана толстую пачку денег и бросил на стол.

– Видал?

Пачка состояла вся из сотенных. Сергей небрежно сунул ее в карман.

– И я один. Ни семьи, ни жены, ничего... Могу все фирмино заведение купить. А завтра столько же будет. Понял?

Он придвинулся к Николаю. Его серые, широко расставленные глаза блестели, на лбу выступил пот.

– А наши там вперед идут, пока мы с тобой здесь... – Он вытер рукой лоб. – Будешь еще?

– Нет, – Николай прикрыл свой стакан ладонью. – Нарзану выпью.

Сергей усмехнулся.

– Фимка, дай-ка еще нарзану. Так на чем мы остановились? На женах, кажется?

Николай, сощурившись, посмотрел на Сергея. Хмель постепенно проходил.

– А ты женат? – спросил Сергей.

– Нет, – коротко ответил Николай.

– Совсем нет?

– Совсем.

– И не был?

– А что вспоминать, что было?

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Сергей понимающе улыбнулся.

– Ясно. И давно?

– С сорокового.

– А знакомы?

– С тридцать девятого.

– Красивая?

– А бог ее знает. Разве в красоте дело?

– В красоте, – уверенно сказал Сергей и сдвинул фуражку на затылок. – А у меня вот нет жены. Не было и не будет.

Николай согласился: «Может, так и надо, все мы дураки в девятнадцать лет...» – и вдруг почувствовал, что случилось то, чего он больше всего боялся, что он дольше не может, что он сейчас все расскажет этому парню, которого он видит в первый раз и, может, никогда больше не увидит. И про Шуру, и про то как он бегал к ней каждый день из института на Осиевскую, через весь город – она работала на Кабельном чертежнице, – и про ее мамашу-старушку, которая все хотела, чтоб они поженились. «Я, – говорит, – старая, скоро умру, так чтоб увидеть еще...»

Сергей внимательно слушал, засунув пальцы в лохматую шевелюру, потом спросил:

– А сколько ей лет?

– Умерла. Сегодня только узнал, что умерла.

– Да не ей, шуре твоей!

– Моей? – Николай попытался улыбнуться. – Дяди Фединой, а не моей.

– Ну, дяди Федина, черт с ним, я его не знаю. Лет двадцать пять?

– Двадцать четыре. Когда на фронт шел, двадцать один был. Теперь, значит, двадцать четыре. Три года прошло... Три года, – повторил он, – и три года верил. Письма писал. Как город освободили, раза три или четыре писал. И все впустую. Дом фрицы сожгли, она перебралась... И вот теперь дядя Федя...

Сергей опять подмигнул – это было у него чем-то вроде тика.

– А ты, брат, ни разу дядей Федей не был? А?

– Я? Дураком я был, вот кем я был...

Николай посмотрел на часы. Сергей протянул руку и закрыл ладонью циферблат.

– Не уходи!

– Мне к десяти в госпиталь надо...

– Да плюнь ты на госпиталь. Наваляешься еще. А мне говорить хочется... – Он перегнулся через столик и, обхватив Николая за плечи, задышал в самое ухо. – Я десять тысяч заработал. А говорить не с кем. Понимаешь? Не с кем...

Николай опять посмотрел на часы. Он никак не мог разобрать, сколько они показывают.

– А ночевать?

– Ночевать? Ты на пуховой перине будешь ночевать, понял? И утром тебе в постельку какао принесут.

Он вдруг откинулся и надвинул фуражку на глаза.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Иди... Со мной связываться... Иди лучше.

– Ладно, – сказал Николай и заказал еще водки.

Сергей молча исподлобья следил за ним. Когда стаканы появились на столе, он отодвинул их и аккуратно прикрыл тарелкой от колбасы.

– Спасибо, капитан, – потом добавил совсем тихо: – Я давно никому спасибо не говорил.

Какой-то парень с лошадиным лицом, в кепочке с крохотным козырьком подсел к их столику и попытался завязать разговор. Сергей мрачно взглянул на него:

– Пей свое пиво и закругляйся.

Парень, торопливо допив свою кружку, ушел. Сергей поднял голову, посмотрел на Николая.

– Вот такие-то дела, брат... Пойдешь ты завтра себе потихонечку в госпиталь. Месяца два-три повалеешься на чистых простынках, а потом фью... Разведчик?

– Разведчик.

– По штанам вижу... Наводчик зорек, разведчик смел. Своих, вероятно, уже в Германии застанешь.

– Надо еще всю Польшу пройти.

– Пройду-ут... – Он потянулся, хрустнул пальцами и посмотрел на Николая. Глаза его стали серьезны, и хмель как будто совсем прошел. – Ну, а мне куда прикажешь деться, товарищ?

– Как куда?

– Вот ты на фронт, а я куда?

Он медленно отодвинулся, засучил штанину на правой ноге и показал протез – коричневый, кожаный протез, выше колена.

– Понял теперь?

Николай молча смотрел на протез. Сергей хлопнул по нему ладонью.

– Курская дуга, четыре «фоккера» на одного «Лавочкина».

Он опустил штанину и ногтем почистил прилипшую к ней грязь.

– А Васькины косточки даже собрать не удалось... А ты говоришь, дядя Федя, жена... Да ты завтра другую найдешь, захоти только. А где я Ваську найду? Я тебя спрашиваю: где я его найду? – Он встал, с шумом отодвинул табуретку. – Пойдем-ка лучше, капитан, я тебя с хорошими девушками познакомлю. Фимка, сколько с меня?

Они расплатились и вышли. На улице было темно, накрапывал теплый летний дождик. Был первый час ночи.

– 4 –

Николай долго потом не мог отделаться от какого-то неприятного ощущения, когда вспоминал проведенную с Сергеем ночь. Где-то еще пили, и пили много. Потом проснулся в незнакомой комнате. Долго не мог понять, как сюда попал. Голова трещала, хотелось воды. На маленьком столике у окна – оно выходило куда-то во двор, набитый автомобилями, – стояла наполовину пустая четвертинка, а рядом лежал огурец и записка, написанная красным карандашом на обрывке газеты:

«Опохмеляйся и топай в госпиталь. Я срочно уехал в Ростов. Если нужны деньги, возьми под кроватью, в чемодане. Ты хороший парень. Сергей».

Николай съел огурец – на водку он и смотреть не мог, – а через час он был уже в белом госпитальном костюме, и на температурном листе над его койкой появилась

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
первая цифра – 36,8.

В палате, кроме него, лежало еще пять человек. Все пятеро попали в госпиталь не с передовой, как Николай, а по болезни: госпиталь был Окружной, и фронтовиков в нем было относительно мало. У двоих была язва желудка, у одного – пожилого майора – карбункул на шее, у другого остеомиелит бедра и у пятого – самого молодого – геморрой, доставлявший ему не столько физические, сколько моральные мучения, а остальным повод для бесконечных шуток.

Рана Николая, как это ни странно, оказалась в хорошем состоянии. Рентген показал, что раздробленная пулей плечевая кость начала уже срастаться, гипс решено было не накладывать, ограничились лангеткой, и надо было только раз в неделю, а то и реже ходить на перевязку. Зато нерв, приводящий в движение пальцы, был поврежден, и о полном восстановлении его раньше чем через пять-шесть месяцев, даже при самом интенсивном лечении, не могло быть речи. Иными словами, возвращение на фронт откладывалось надолго.

Товарищи по палате относились к Николаю хорошо, с тем особым уважением, с которым относятся к людям, раненым на фронте. Но он как-то мало с ними разговаривал. Ложился задолго до отбоя, в шахматы и домино не играл, а проснувшись, – он просыпался раньше всех, – долго лежал и смотрел в окно. После завтрака пролезал через дырку в заборе и устраивался где-нибудь на тенистых склонах стадиона, того самого, на котором когда-то сам занимался. Внизу, на зеленом поле, тренировались футболисты, и Николай следил за игрой, или читал, или просто лежал и смотрел в небо.

На пятый или шестой день пришел Сергей. Николай не очень этому обрадовался – ему не хотелось ни вспоминать о той вечеринке, ни вообще вести какие-либо разговоры. Он лежал на своей излюбленной, крохотной, закрытой кустами лужайке, с которой был виден весь город и стадион, и перелистывал «Красноармеец» за сорок второй год.

Сергей пришел в сияющей белизной новенькой выглаженной рубашке и сразу же с подмигиваниями и усмешками заговорил о том, что местечко Николай выбрал чудесное, но не мешало бы сюда кого-нибудь из обслуживающего персонала, – и дальше все в том же тоне.

Николай мрачно слушал, ковыряя спичкой в зубах. Когда же Сергей заговорил о том, что девочки (речь шла о тех девицах, с которыми они тогда пили) не дают ему покоя и все спрашивают, где тот капитан с рукой, Николай не выдержал и сказал:

– И чего ты со всей этой дрянью возишься? Не противно разве?

Сергей обиделся и сухо сказал:

– Я не люблю этих разговоров, капитан. – И вдруг разозлился: – Каждый считает своим долгом читать мне нотации. Все вдруг учителями заделались. Надоело!

– Не учителями, а просто... – попытался вставить Николай, но Сергей его перебил:

– Нет, учителями! И ты в учителя лезешь. Кому какое дело? Противно или не противно, это уж мое дело. Ну, чего смотришь? Вылупился, как баран на новые ворота.

– Смотрю и думаю... Ведь я и фамилии твоей не знаю.

– А зачем она тебе? Ну, Ерошик. Старший лейтенант Ерошик. Двадцать первого года рождения. Холост. Из крестьян. Что еще надо?

– Больше ничего.

Они помолчали, потом Николай попросил Сергея, когда он будет в городе, зайти в адресный стол и узнать адрес одного его приятеля.

– Тоже двадцать первого года, Куценко, Григорий Тимофеевич. Уроженец, не помню уже, не то Житомира, не то Умани.

– Ладно, – сказал Сергей и, помолчав, спросил: – Рентген делали?

– Делали.

– Ну и что?

– Ничего. Срастается. Но поваляться придется.

Опять помолчали.

– А он не летчик? – опять спросил Сергей.

– Кто?

– Да этот самый Куценко.

– Нет. Со мной в институте учился.

– А то у нас тоже один Куценко был. Во второй эскадрилье.

Опять помолчали. Разговор явно не клеился. Сергей, лежа на животе, ковырял ножом землю, потом повернулся.

– Не сердись, капитан. У меня бывает такое. – Он улыбнулся и в улыбке его неожиданно появилось что-то виноватое. – Контуженный все-таки. Псих. Надо считаться.

Николай пожал плечами.

– А Васька вот не был. Ты знаешь? И водки не пил. Настоящий был человек. Такого теперь не сыщешь. Два года вместе летали. С ишаков еще начали. Потом на «Лавочкиных». На «Ла-5», знаешь?

– Хорошие, говорят, машины.

– Первый класс. Почтище «фоккера». И вооружение дай бог. В какой хочешь бой ввязывайся. И ты б видел, что Васька на этой машине выделявал! Уму непостижимо! Ты был на Курской?

– Нет, не был.

– Жаль. Были там дела в воздухе. И ты б видел, что он там вытворял!

Сергей стал рассказывать о воздушных боях. Как все летчики, он неистово жестикулировал и несчетное количество раз повторял слово «бенц», заменявшее ему по меньшей мере десяток других слов.

Откуда-то, очень издалека, донесся звук летящего самолета. Его долго не было видно, потом он появился – крохотная, едва заметная точка.

Сергей уткнулся лицом в землю.

– Слышать не могу.

Самолет долго кружился, потом улетел, остался только длинный, серебристый, медленно расплывающийся в высоком небе след.

– В тот день Васька как раз девятого фрица сбил. Еще б одного – и получил бы Героя.

Сергей лег на спину и долго так лежал, закинув свои черные от загара руки за голову.

– Я знаю, что ты обо мне думаешь, капитан, – произнес он после нескольких минут молчания. – Сказать?

– Говори.

Сергей усмехнулся и скосил глаза на Николая.

– Распутный малый, приземлившийся летчик, работать не хочет, спекулирует своим протезом... Так ведь? Правда?

– Не совсем, но...

– Приблизительно? Да? Нет, брат, не приблизительно, а точно. Абсолютно точно. – Он помолчал. – А почему это так? Если это действительно так, то почему?

– Ты ж не хотел об этом говорить.

– Тогда не хотел, а сейчас хочу.

Он перевернулся на живот и, запустив руки в волосы, посмотрел на Николая своим обычно насмешливым, а сейчас настороженно вопросительным и каким-то не допускающим к себе взглядом, который как будто говорил: «Я вот тебя спрашиваю, но отвечать мне не надо, ты все равно не сможешь, я сам себе отвечаю».

– Мне вот недавно одна цыганка гадала. И знаешь, что нагадала? «До глубокой старости, – говорит, – доживешь, а счастья не будет. Все будет – любовь, деньги, друзья, а счастья не будет».

– Дура она, твоя цыганка.

– Не-ет, не говори. Совсем не дура. Правильно старуха сказала. Биография-то у меня кончилась. Так, мура какая-то осталась. А ведь летчиком был. И неплохим летчиком. Восемь машин на счету имел. И это за каких-нибудь десять месяцев, со Сталинграда начал. Был и комсомольцем, думал в партию вступать. А теперь что? Обрубок... Летать уже не буду, из комсомола выбыл. Мотаюсь по городам с какими-то чертовыми тапочками. В Ростове инвалидная артель их делает – хорошие, на лосевой подошве. Я перевожу их в Харьков, в Одессу, сюда: с протезом всегда проедешь, никто не задержит. А трое ребят – жуки такие, дай бог – загоняют их. Вот так и живу: заработаю – пропью, опять заработаю – опять пропью.) А ты говоришь – счастье. Нет его! Нога не вырастет. И жена к тебе не вернется. Нет счастья... – И вдруг подмигнул: – А может, вернется, а?

– Не знаю.

– Чего не знаешь?

– Ничего не знаю...

Сергей ловко на локтях подвинулся к Николаю и положил ему подбородок на колено.

– Э-э, брат! Да ты, я вижу, вроде меня... – И почему-то шепотом добавил: – Я ведь тоже не знаю... Раньше знал, а теперь не знаю.

– Н-да... – неопределенно сказал Николай и понял, что сейчас, так же как и тогда, в пивной, заговорит о Шуре. Черт его знает, но в Сергее, в этом, как он сам себя называл, приземлившемся летчике и распутном малом, было что-то, что располагало к нему.

Николай говорил долго и много, что с ним редко случалось. Сергей слушал, засунув пальцы в лохматую шевелюру, перебивая иногда вопросами.

Думает ли он о Шуре? И не проще ли послать ее к черту, забыть о ней? Может, и проще, но думает. Цельми днями думает. Читает книгу и вдруг замечает, что прочел пять страниц, но не помнит из них ни одного слова, – думал о Шуре. В столовой официантка подает обед или ужин, а он смотрит на ее руки и вспоминает Шурины руки: как она расставляла тарелки, резала хлеб, разливала суп. Он вспоминает все. Ее голос, улыбку, забавную привычку влезать в пальто, натягивая его на голову. Вспоминает какие-то пустяковые мелочи – как учил ее вскакивать на ходу в трамвай. Трамвай проходил как раз мимо их дома, но до остановки было далеко, и, чтоб не опоздать в кино, они всегда вскакивали на ходу. Не всякий это умеет, а Шура наловчилась не хуже парня. Потом они пешком возвращались домой – трамваи уже не ходили – по тихой, заросшей каштанами Дорогожицкой, и Шура все боялась, что на них нападут хулиганы – она была трусихой, а он, напротив, не прочь был показать перед Шурой свою силу и умение драться. А весной они переехали с

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Лукьяновки в город. Шура с азартом принялась обставлять комнату. Какие-то салфеточки, вазочки с ковылем... Все мечтала о тахте. Она могла целыми днями возиться в комнате – что-то вытирать, переставлять, перевешивать. Николай смеялся. Она чуть-чуть обижалась и говорила: «Не нравится, не смотри, а я люблю, чтоб красиво было».

Николай вспоминал. Вспоминал и рассказывал обо всех этих мелочах, о которых обычно не рассказывают, так как они интересны только тебе и уж, во всяком случае, не человеку, которого ты видишь второй раз в жизни. И все-таки он рассказывал и не думал, для чего он это делает, – просто хотелось.

– А вон и тот дом, где мы жили. Вон там, за стадионом. Видишь? Желтый, с башенкой. Рядом с разрушенным. Только окна не сюда, а во двор. – Николай бросил камешек в ту сторону, куда указывал. – И сколько прожили-то, каких-нибудь семь-восемь месяцев. Расписались в ноябре, как раз перед праздником, а в июне меня уже в армию взяли... Но, ей-богу, можешь поверить, за эти семь-восемь месяцев... – Николай вдруг умолк, взглянул искоса на Сергея (тот по-прежнему лежал на животе, глядя на город), потом сказал: – Тебе, холостяку, рассказывать? Разве ты поймешь? Мне вот тоже когда-то казалось, жена – это так, для стариков: спокойно, удобно, белье выстирано. А молодому... В кино обязательно с женой, и по субботам в театр, и чтоб галстук, воротничок, иначе нельзя. И вообще...

Сергей повернул голову, подмигнул хитрым глазом:

– Главное, «вообще». Вот оно-то и не разрешалось.

Николай помолчал, потом, не улыбаясь, сказал:

– Знаешь что, друг: иди-ка ты домой.

– Ну вот, обиделся.

– Не обиделся, а... иди-ка домой.

Сергей вытянул губы, и усики его смешно задвигались.

– Картина ясная. Вернешься.

Николай ничего не ответил. Встал. Сергей взглянул на часы.

– Тю-тю, седьмой час! Вот оно, про любовь говорить... – И тоже встал. – Так как ты сказал? Куценко, Тимофей Григорьевич?

– Григорий Тимофеевич.

– А стоящий хоть парень?

– Хороший.

– Водку пьет?

– Пьет.

– Тогда не забуду. – Он отряхнул брюки, взглянул на Николая: – А может, мне все-таки сходить к ней, к твоей Шуре? А?

– Уходи уж... Ей-богу, не посмотрю, что ты с палочкой.

Сергей рассмеялся, ловко, почти не опираясь на палку, спустился с пригорка и помаhal на прощанье рукой. Николай еще полежал немного, попытался читать «Красноармеец», но не вышло, и, сделав крюк через футбольное поле, чтоб размяться, пошел на ужин.

– 5 –

В адресном столе Сергей просидел около часа. Куценко так и не нашли, зато у Митясовой оказалось два адреса: улица Горького, 24 и 38. Один из них, очевидно, был довоенный.



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrašovvictor.ru Сергей сунул бумажку в карман, вышел на улицу и сразу же поймал «виллис», который отвез его на улицу Горького. В двадцать четвертом Митясовой не оказалось. Он пошел в тридцать восьмой. Две беленькие девочки, сидевшие у подъезда на скамейке, сказали ему, что она живет в восьмой квартире, надо только погромче стучать. Сергей постучал погромче. Дверь почти сразу же открыли. Он спросил Митясову. Ему сказали, что надо пройти по коридору и постучать во вторую дверь налево. Он прошел по коридору и постучал.

– Войдите, – раздался высокий женский голос.

В небольшой, очень скромной комнате, почти сплошь заставленной цветами, сидела женщина за швейной машиной. Не вставая и продолжая шить, она повернулась и, сощурившись, – очевидно, она была близорука, – посмотрела на Сергея. Сергей вошел и остановился около стола.

– Вы ко мне? – спросила женщина, внимательно через плечо разглядывая Сергея, точно стараясь вспомнить, где она его видела.

Сергей кивнул головой. Женщина встала и подошла к столу.

Она была небольшого, скорее даже маленького роста, тоненькая, с густыми, падавшими на лоб каштановыми волосами и, что прежде всего обращало на себя внимание, большими, серьезными, сейчас немного недоумевающими серыми глазами. На первый взгляд ей никак нельзя было дать больше двадцати лет, и только потом, присмотревшись, Сергей увидел первые седые волосы, а возле рта две морщинки, которых не должно было быть. Одета она была в какой-то домашний халатик, который сразу же немного испуганно запахнула, и стоптанные туфли на босу ногу.

– Вы ко мне? – повторила она, машинально продолжая втыкать иголку в бортик своего халата.

– К вам, – сказал Сергей. – Можно сесть?

– Пожалуйста, пожалуйста. – Она торопливо подвинула стул и привычным жестом хозяйки смахнула с него предполагаемую пыль.

Сергей сел и вынул портсигар.

– Можно?

Женщина ничего не ответила. Облокотись о спинку стула, она следила за пальцами Сергея, разминавшими папиросу. Потом тихо, точно в себя, спросила:

– Вы от Николая?

– От Николая, – сказал Сергей и отвел почему-то глаза. – Он сейчас в госпитале. В Окружном госпитале. Он не знает, что я к вам пришел.

– Что с ним? – спросила Шура.

– Пулевое ранение с переломом кости. Рука. И нерв поврежден.

– И нерв поврежден, – повторила Шура.

– Это значит, что он не может двигать пальцами, – пояснил Сергей. – Это надолго.

– Надолго, – опять повторила Шура и посмотрела на часы, висевшие на стенке. Они показывали без пяти шесть.

Кто-то легкими шагами прошел по коридору. Проходя мимо двери, крикнул:

– Шура, я сняла ваш суп!

– Одну минуточку! – Шура запахнула халатик и выбежала в кухню.

«Сейчас ввалится муж», – подумал Сергей и невольно огляделся, ища признаков его существования в этой комнате.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
На гвозде висел ремень с портупеей, а в углу, возле печки, стояли брезентовые, очевидно сшитые из плащ-палатки, сапоги. Фотографий ни Николая, ни кого-либо другого не было. На стенах висели картинки, вырезанные, очевидно, из журнала: мишки в лесу, бурное море с черными тучами, а возле окна большая карта с нанесенной линией фронта. В комнате было чисто и уютно, хотя и были видны следы оккупации – закопченный потолок и большой рыжий потек над самым окном.

Особый уют придавали цветы. Их было очень много: на комодe, на тумбочке, на письменном столе, но больше всего на окне. Маленький горшочек с плющом висел на веревочке. Тут же стояли кактусы, один из них даже цвел, в нескольких бутылочках торчали молоденькие листья фикуса.

В коридоре хлопнула входная дверь. Послышались быстрые мужские шаги, и в комнату, не стучась, вошел совсем молодой, лет двадцати, не больше, парнишка в военной форме, без погонов. Увидев Сергея, он как будто немного смутился, но, ничего не сказав, подошел к письменному столу.

Почти сразу же за ним вошла Шура.

– Познакомься. Это товарищ Николая.

Молодой человек повернулся.

– Вот видишь. Я ж говорил, что это он приходил, а ты... – Он протянул руку Сергею: – Бунчужный. Он что, в госпитале?

– В госпитале.

– Очевидно, ранение не серьезное, раз он... – парень замялся.

У него было очень приятное курносое лицо с пухлыми, придававшими ему совсем детское выражение губами и смешной, тоже какой-то детский, хохолок на лбу.

– Я хотел сказать: раз он мог сюда прийти, значит...

– Нет, ранение серьезное, – сухо ответил Сергей. – Я думаю, что на фронт он уже не вернется.

– Не вернется? – Сергею показалось, что парень покраснел. – Вы думаете, что не вернется?

– Да, я так думаю.

– Вы с нами пообедаете? – спросила Шура, ставя на стол тарелки и не глядя на Сергея.

– Спасибо. Я уже обедал.

Бунчужный вынул из кармана кисет и аккуратно сложенную газетную бумагу.

– Вы курите?

– Спасибо. Только что потушил папиросу.

– А я вот махорку курю. Никак не отвыкну. Шурочка, правда, ругается, – он улыбнулся, и на щеках его появились две ямочки, – но махорка, по-моему, все-таки лучше. Правда?

Сергей ничего не ответил. Бунчужный старательно свертывал папиросу. Шура протирала тарелки.

– С посудой совсем беда. Все тарелки перебила, а новых нигде не достанешь. Может, вы все-таки пообедаете?

– Нет, я уже обедал.

Шура положила на стол ножи и вилки и вышла на кухню. Сергей сидел и крутил пальцами пепельницу. Он сам не мог понять, чего он сидит? То, что ему надо было,

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru он сделал: сообщил Шуре о Николае, посмотрел на нового мужа, – чего ж еще сидеть? Отклонялся и ушел. Вместо этого Сергей встал и подошел к карте с линией фронта.

– Тут не все отмечено, – оживленно, точно радуясь теме для разговора, сказал Бунчужный, подходя сзади к Сергею. – Сегодня передали – вы не слыхали? – наши заняли в Румынии больше ста населенных пунктов. Турну-Северин – это вот здесь – и еще какой-то, на «лунг» кончается.

– Н-да... – сказал Сергей.

– Просто не успеваешь отмечать. Уже к югославской границе вышли. В этом, кажется, месте. Пойдите, я сейчас посмотрю.

Бунчужный, став на стул, начал искать газету в большой кипе на шкафу.

– Да вот она. – Он соскочил со стула. – Так... Наши части вышли на границу Румынии и Югославии. А где – не сказано. Мне почему-то казалось...

– Вы где-нибудь работаете? – неожиданно спросил Сергей, оборачиваясь к нему.

Бунчужный удивленно посмотрел.

– Работаю. А что?

– Да ничего. Просто так. Интересуюсь. На каких фронтах воевали?

– На разных. На Юго-Западном, Донском, Сталинградском...

Вошла Шура с кастрюлей в руках.

– Может, вы все-таки...

– Нет, нет... Я пошел. – Сергей посмотрел на часы. – Уже седьмой час.

– Так скоро? Мы даже... – Она стояла с кастрюлей в руках и смущенно-вопросительно смотрела на Сергея. – Вы торопитесь, я понимаю.

– Да, я тороплюсь. Всякие дела еще... Всего хорошего!

– До свидания, – скороговоркой сказал Бунчужный и протянул руку. – Вы там от меня... – Он прижал руку к груди и слегка поклонился.

Шура поставила кастрюлю на стол.

– Одну минуточку! У нас темно. Разрешите, я вперед пройду.

Открывая наружную дверь, она спросила:

– Вы не сказали, где он там лежит.

– Первое хирургическое. Третья палата. Это второй корпус слева. Большой двухэтажный корпус.

– Спасибо. Большое спасибо. Я обязательно... Осторожнее, там выбиты ступеньки, не споткнитесь.

– Ничего, ничего. Я вижу. До свидания.

– До свидания.

Сергей стал спускаться. Шура постояла у раскрытой двери, прислушиваясь к удаляющимся шагам Сергея. Лестница была темная, и он на своем протезе спускался очень медленно. Потом хлопнула входная дверь. По коридору прошла соседка. Шура дождалась, пока она не скрылась в своей комнате, прошла на кухню и там заплакала.

– 6 –

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Дни по-прежнему стояли теплые, совсем летние, и Николай целыми днями, скинув рубашку, загорал на своей лужайке.

Он привык к чтению. До войны он мало читал, а если и читал, то урывками, когда нечего было делать, да и то те книги, которые откуда-то приносила Шура. Это были все старые, растрепанные, пахнувшие почему-то мышами и пылью книги про любовь, которые Николай тут же забывал – он не любил читать про любовь.

В госпитале он стал читать. Сначала тоже от нечего делать. Зашел как-то после кино в библиотеку, просмотрел газеты, увидел на полках книги и попросил, чтоб ему дали что-нибудь интересное, только не про войну и не про любовь.

Библиотекарша, пожилая, коротко остриженная и приветливая, улыбнулась и дала ему «Всадник без головы». Он на следующий же день его вернул и получил «Баскервильскую собаку», затем «Гиперболоид инженера Гарина». Эта книга ему не понравилась – слишком уж выдуманная, и он попросил что-нибудь попроще, без фантазии. Анна Пантелеймоновна улыбнулась и дала ему рассказы Горького, Николай увлекся, потребовал еще.

Он сам себе удивлялся. В прошлом году, когда он лежал в госпитале в Баку, он был первым заводилой, душой палаты. Под его руководством чуть ли не ежедневно «пикировали» в город, пользуясь выходящим на улицу окном физкультурного зала, ходили в театр и кино, по ночам долго сидели в коридоре, развлекая дежурных сестер, или, запершись в палате, занимались недозволенной игрой в карты. Здесь же было не то. Большинство находившихся в госпитале были из местного гарнизона. К ним приходили жены, сестры, знакомые. Устроившись где-нибудь на травке, они уничтожали принесенные ими продукты и рассказывали, рассказывали без конца о своих болезнях. Николая это раздражало. А может быть, он просто завидовал. К нему никто не приходил, даже Сергей и тот исчез.

Как-то ребята из соседней палаты (там было два фронтовика) достали где-то обмундирование и предложили Николаю «спикировать» в город.

– Хватит читать. Глаза опухнут.

Николай пошел, но с ужасом заметил, что совершенно разучился веселиться, и с завистью смотрел на своих товарищей, которые, подцепив в кино каких-то барышень, просто и непринужденно болтали с ними, вызывая поминутно вспышки хохота своими незамысловатыми анекдотами и фронтовыми рассказами. Николай тоже пытался острить, но у него почему-то не получалось. Одна из девушек сказала:

– Можно подумать, товарищ капитан, что вы вчера свою бабушку похоронили.

«Черт! – выругал сам себя Николай. – Действительно, точно бабушку похоронил. На человека перестал быть похож. И из-за чего? Из-за какого-то там Феде. А ну его...» И тут же, чтоб отвлечься от этих мрачных мыслей, предложил после кино зайти посмотреть аттракцион «Петля смерти», мимо которого они как раз проходили.

После аттракциона, где двое ребят с отчаянным треском носились на мотоциклах по вертикальной стенке, Николай оживился, стал тоже рассказывать какие-то фронтовые эпизоды и вскоре даже почувствовал, что молодым девушкам не так уж с ним скучно. Потом проводили девушек домой и условились встретиться в ближайшую субботу.

Но встреча эта не состоялась. Помешали два события, происшедшие на следующий же день.

Первым событием были полученные с фронта письма. Их пришло сразу три – в одинаковых конвертах, со штампами военной цензуры.

Замполит Кадочкин, исполняющий сейчас обязанности командира роты, своим красивым круглым почерком писал, что «солдаты и офицеры вверенного вам подразделения» (из деликатности он писал, что рота вверена все еще ему, Николаю, чем хотел подчеркнуть свою веру в его возвращение) по-прежнему отлично выполняют задания командования, что противник все еще упорен, но упорство это будет сломлено и день победы не за горами. В конце письма Кадочкин перечислял, кто чем награжден, и сообщал, что Николая тоже представили к ордену Отечественной войны первой степени за Люблин.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Второе письмо было от бойцов. По цветистости и замысловатости фраз Николай сразу понял, что писалось оно Толей Семушкиным, новым комсоргом, ротным поэтом, без конца снабжавшим дивизионную газету своими стихами, которые никогда не печатались. Письмо кончалось следующими строфами:

Мы скорейшего желаем  
Излечения ваших ран,  
Чтоб в Берлине, мы мечтаем,  
Удалось побывать и нам.

Третье письмо было от штабной писарши Лели – веселой, смешливой и тайно, хотя это знали все, влюбленной в своего командира роты.

В нем писалось с бесконечным повторением слов «товарищ капитан», что все скучают о своем бывшем командире, что Польша и поляки Леле очень нравятся, особенно польки, что на смену вишням («помните, товарищ капитан, Лушув под Люблином») пришли антоновки, что в роте есть теперь собственный павлин, которого, раненным, подобрал санинструктор Павлицев, что сама Леля теперь уже тетя – она получила письмо из дому, что у нее родился племянник («не у меня, конечно, а у моей сестры Клаввы»), а пятнадцатого была годовщина части, и она выпила два стакана вина «и была совсем, совсем пьяная». Письмо было на шести страницах, кончалось пожеланиями скорейшего выздоровления и надеждой, что товарищ капитан не забыл своих лучших друзей, которые часто-часто его вспоминают.

Николай раз десять перечитывал письма. Он представлял себе, как их писали, как Леля бегала в штадив за конвертами (все три письма были не обычные фронтовые треугольнички, а в настоящих, совсем как в мирное время, конвертах), как Толя Семушкин, распластавшись на животе в кустах, сочинял стихи, как долго искали и не могли найти, а потом находили наконец где-нибудь храпящим вестового Лободу, чтоб поставил свою подпись, и он, сопя и кряхтя, выводил ее аршинными буквами... Представил себе и павлина, которого, наверное, возит Михеич поверх своих мешков, и вспомнил, как Михеич после Одессы точно так же возил зачем-то козу, которая окотилась потом тремя козлятами.

Вспомнил и всех своих друзей, – и последних, и сталинградских, и первых дней войны, когда он был еще в запасном полку, и, как это всегда бывает, вспоминалось почему-то не страшное и тяжелое, связанное с войной, а какие-то веселые, забавные случаи, все то хорошее и сближающее людей, что встречалось ему за эти последние три года.

И так вдруг захотелось туда, к своим разведчикам, к своему связному Тимошке, замполиту Кадочкину, Лободе, туда, где есть для тебя настоящее дело, где ты чувствуешь себя нужным, что Николай решил сейчас же поговорить с замполитом госпиталя о своей скорейшей выписке.

Майор Касаткин – Николай столкнулся с ним, когда платил партвзносы, – произвел на него хорошее впечатление: спокойный, немногословный, сам в прошлом фронтовик. Договориться с ним, вероятно, будет нетрудно. А на фронте в конце концов, если не в дивизии, то в штабе армии, всегда можно найти работу –веряющим или еще кем-нибудь, – работа всегда найдется.

Решение это еще больше укрепилось после второго, происшедшего в тот же день события.

– 7 –

Николай, как обычно, шел после завтрака на свою лужайку. Дойдя до «второй хирургии», он собирался уже свернуть налево, когда кто-то окликнул его:

– Товарищ капитан, а товарищ капитан!

Он обернулся. Сестра-хозяйка с кипой стираного белья в руках делала ему головой знаки, чтоб он подошел.

– Только для вас исключение сделала, – сказала она басом и не улыбаясь (она была строга, ее все боялись). – Приемные часы у нас только вечером, вы так и скажите своим друзьям. С шести часов. А днем, когда процедуры, чтоб не ходили. Там вас дожидаются.

– Кто? – удивился Николай. Сергей прошел бы прямо на лужайку.

– А мне откуда знать? – Сестра пожала толстыми плечами. – Сидит какая-то с чемоданчиком.

«Какая-то с чемоданчиком?..»

Еще издали он увидел сидевшую на скамейке Шуру. Лица ее не было видно; она, наклонясь, что-то поправляла в туфле. Рядом на скамейке стоял маленький спортивный чемоданчик; Николай сразу узнал его, – тот самый, в котором он когда-то носил свои спортпринадлежности.

Николай часто представлял себе мысленно эту встречу. Он знал, что она должна произойти, – в трамвае ли, на улице ли, но произойти должна, – и заранее приготовил даже первую фразу. Он собирался начать первым, чтобы задать тон всему разговору и сразу же дать понять Шуре, что он ко всему относится абсолютно спокойно, что прошлое должно остаться прошлым, искусственно восстанавливать его незачем, и пускай идет все так, как пошло. Что он чувствует и что думает на самом деле – это другой вопрос, но говорить он будет именно так. Так он решил. Но сейчас, подходя к Шуре, он вдруг почувствовал, что не знает ни как держать себя, ни о чем говорить.

Шура, очевидно, тоже не знала, потому что, встав, сделала навстречу ему два маленьких шажка, остановилась, держа чемоданчик обеими руками, и улыбнулась. Возле рта появились две глубокие складки – раньше их не было.

«Бог ты мой, как изменилась!» – подумал Николай и только сейчас заметил, что на скамейке, кроме Шуры, сидят еще двое раненых и что они оба с нескрываемым любопытством людей, соскучившихся по посторонним лицам, смотрят на него и на Шуру.

Один из них, круглолицый, совсем молоденький парень с мохнатым подбородком и повязанной головой, улыбнулся и сказал:

– А вы, дамочка, волновались! Видите, какой жирный стал. По две порции ест, – он подмигнул Николаю. – Солдат спать, а служба идет. Правильно я говорю, товарищ капитан?

Николай кивнул головой.

– Они уже уходить собирались, – весело улыбаясь, объяснил парень. – Тут на них хозяйка малость накричала. А я говорю: погоди трюшки, капитан, говорю, после завтрака обязательно за книжкой придут. А тут, вижу, вы туды, за кухню, пошли. Хотел крикнуть, а тут хозяйка вас. Да вы садитесь, что вы стоите, всем места хватит.

Он гостеприимно подвинулся и смахнул полой халата какие-то щепки со скамейки.

– Да нет уж! Спасибо, мы пойдем... – Николай протянул руку за чемоданчиком. – Пойдем.

– Узнаешь? – тихо спросила Шура, отдавая чемоданчик.

– Узнаю, – сказал Николай и слегка коснулся Шуриного локтя. – Пойдем.

Они молча дошли до забора.

– Осторожно, здесь проволока, – сказал Николай, раздвигая колючую проволоку, – я уже два раза рвал пижаму.

Шура ловко протиснулась в дырку.

Они пересекли овраг и вышли на лужайку.

– Здесь хорошо, – сказала Шура и села на траву.

– Хорошо, – согласился Николай и тоже сел. – Я здесь целыми днями валяюсь.

– А почему у тебя нет гипса? – спросила Шура. – Я думала, что ты в гипсе.

– Теперь стараются без гипса. Так, говорят, лучше.

Николай полез в карман и вынул трубку, хотя ему совсем не хотелось курить. Шура сидела в трех шагах от него, опершись спиной о тоненькую, совершенно случайно попавшую сюда березку, и смотрела на город. На ней была белая, очень шедшая ей блузка с вышитыми рукавами.

– Так мама, значит, умерла? – тихо спросил Николай.

– Да.

– От рака? Это все-таки рак оказался?

– Да.

– И очень мучилась?

– Очень. Особенно последние дни.

Николай чиркнул спичкой и долго разжигал трубку.

– Мне соседка из двадцать четвертого номера сказала. При немцах еще умерла? – и, помолчав, добавил: – Так я ее и не увидел...

Шура ничего не ответила, потом спросила:

– А где тебя ранило?

– В Люблине.

– Осколком?

– Пулей. Автоматчик с крыши. Дырка пустяковая, а вот пальцы не работают.

Шура посмотрела на его пальцы: они безжизненно свисали из-под черной повязки, и сказала:

– Плохо, что правая.

– Ничего. Зато левая приучится работать.

Потом Шура стала расспрашивать, чем их кормят в госпитале и как лечат. Николай отвечал. Отвечал, машинально посасывая погасшую трубку, и думал о том, что все происходящее сейчас на этой лужайке нелепо и фальшиво до крайности.

К чему все это, думал Николай, изредка уголком глаза взглядывая на Шуру, изменившуюся, похудевшую, но все-таки почти прежнюю. К чему все это? Вот она пришла. Пришла в белой блузке с вышитыми рукавами, которая ему всегда так нравилась. И именно поэтому она ее надела. И именно для того, чтоб напомнить прошлое, она пришла со спортивным чемоданчиком и спросила, узнает ли он его. Да, он его узнал. И что же? Он и Шуру узнал. Она так же, как и раньше, немного щурит глаза, так же разглаживает юбку на коленях, и все-таки... Все-таки она чужая. Между ними выросло то, о чем, – Николаю это сейчас совершенно ясно, – ни он, ни Шура говорить не будут. Да и нужно ли?..

Они посидят так еще десять, двадцать, тридцать минут и будут смотреть на город, потому что смотреть друг на друга неловко и тяжело, и будут говорить о том, чем кормят в госпитале и почему ему не надели гипсовой повязки, и обоим им это неинтересно и не нужно, и все-таки они будут говорить только об этом, а потом Шура встанет и скажет, что ей надо куда-то идти, и Николай тоже встанет, и они попрощаются и разойдутся.

Внизу по аллее прошла парочка – знакомый Николаю интендантский майор из «терапии» с полной, коротконогой дамой. Увидев Николая, он помахал рукой, потом подошел.

– Надеюсь, не помешал вашему уединению?

Николай ничего не ответил.

– А мы вот прогуливаемся, врачи велют побольше ходить. Вот и хожу. А погодка-то, погодка-то какая!.. Как говорится, старожилы не припомнят такой осени.

Дама тоже что-то сказала насчет погоды. Шура взглянула на часы: у нее на руке были маленькие часики на черненькой тесемке. «Их раньше не было», – подумал Николай и впервые почувствовал, как в нем зашевелилось что-то недоброе к тому, кого он знал только как дядю Федю и кто, очевидно, подарил эти часики Шуре.

– Ну, я пойду, – сказала Шура, вставая. – Первый час уже.

Николай тоже встал. Майор приветливо помахал рукой и стал помогать своей даме спускаться с пригорка.

– Ты спешишь? – спросил Николай.

– Да. Мне надо еще... – ответила Шура и стряхнула приставшие к юбке листья. – Ты меня не провожай, я знаю дорогу.

– А чемоданчик? – сказал Николай.

– Ах да... – Она приостановилась. – Там я тебе кое-что принесла. Ты возьми... – и быстро сбежала с пригорка на аллею.

Она больше ничего не сказала, даже не обернулась, а обычным своим мелким, но быстрым шагом дошла до каменной лесенки и, как всегда, бочком спустилась по ней.

Николай тоже ничего не сказал. Постоял немного, потом подошел к чемоданчику, – он так и лежал нетронутый возле березки, – раскрыл его. В нем лежала аккуратно завязанная тряпочкой бутылка молока, два пончика, яблоки и пачка печенья. Все было тщательно завернуто в бумагу. На самом дне, тоже завернутая в бумагу, лежала фотография. Николай посмотрел на нее, они были сняты вдвоем: он в белой майке, напружинившийся, чтоб лучше выделялись мускулы; Шура в той самой блузке с вышитыми рукавами, в которой она пришла сейчас, потом положил все обратно так, как оно лежало, взглянул на часы – до обеда было еще целых два часа, – старательно вычистил и продул трубку, опять набил ее табаком.

..Ну, вот и все. Встретились, поговорили и разошлись. Просто и спокойно. И ни одной слезинки. И голос ровный, спокойный. «Да... Нет... Где тебя ранило?.. Жаль, что правая». И ушла. Оставила чемоданчик, – раненым всегда что-нибудь приносят, – и ушла. И, вероятно, он больше никогда ее не увидит. А может, будет иногда встречать. Впрочем, стоит ли об этом думать? Он хочет сейчас только одного – назад, туда, где самые близкие для него люди: Тимошка, Кадочкин, веселые его разведчики.

Николай встал – начал накрапывать дождик, – пошел к замполиту. Но майор Касаткин развел руками и сказал, что хотя он и вполне сочувствует Митясову, но, к сожалению, вопросами выписки занимается начмед.

Пришлось идти к начмеду.

Разговор с ним занял не больше двух минут. Начмед, изящный капитан в пенсне, со скучающим видом человека, которого по пустякам отрывают от важного дела, выслушал Николая и коротко сказал:

– Безрукие разведчики на фронте не нужны. Это вам так же ясно, как и мне. Вылечитесь, пошлем, – и стал набирать какой-то номер по телефону.

– 8 –

Шура вышла со стадиона и остановилась возле Музкомедии. Ей надо было зайти в три места: в Стройуправление узнать насчет работы – для этого надо было свернуть налево по Красноармейской; на базар за керосином (утром она вылила последний в примус) – для этого надо было зайти домой за бидоном, и в магазин за пайком – для этого тоже надо было зайти домой и взять карточки. Все это необходимо было сделать именно сегодня, не завтра, не послезавтра, а именно сегодня. Шура это хорошо знала и все-таки повернула почему-то направо и пошла по Красноармейской.



Откуда-то нагнало тучи, первые за этот месяц. Стал накрапывать дождь. Он становился все сильнее, и Шура – она была в легоньких белых босоножках – зашла переждать его в обувной магазин.

В магазине выдавали резиновые тапочки. В нем была уйма народу. Шура пристроилась между прилавком и витриной, стала смотреть на улицу. Дождь припустил, превратился в ливень. Прохожих загнало в подъезды и ворота. Только наиболее смелые и торопящиеся, завернув брюки до колен, забавно прыгали через лужи и бурлящие ручьи.

– Вот это дождик так дождик... – сказал кто-то над самым ее ухом.

Шура вздрогнула. Перед ней стоял парень с маленькими, залихватски подкрученными усиками – тот самый, который приходил к ней, – стоял и улыбался.

– Узнали?

– Узнала, – сказала Шура.

– Вас что, дождь сюда загнал?

– Дождь. – Шура почему-то старалась не смотреть ему в глаза. – Вас тоже?

– Меня? Допустим, что тоже. Кстати, вам не нужны тапочки?

– Нет, не нужны.

– А то я мигом... Вы какой номер носите?

– Тридцать пятый... Но, ей-богу, мне не нужны...

– Одну минуточку!

Сергей исчез в толпе. Через минуту вернулся с маленьким свертком в руках.

– Берите. И не делайте вид, что они вам не нужны... В крайнем случае загоните на толкучке.

Шура растерянно посмотрела на Сергея снизу вверх: он был почти на две головы выше ее.

– Да, но...

– Тринадцать пятьдесят. Деньги можете прислать по почте: Главпочтамт, до востребования, Ерошик, Сергей Никитич... Смотрите, дождик-то уже прошел. И солнце вовсю.

Они вышли на улицу.

– Вам куда? – спросил Сергей.

– Мне? – Шура замялась. – Мне туда. – Она показала направо.

– Ну и мне туда.

Они пересекли площадь и пошли по направлению к центру. Небо совсем очистилось, и только ручьи, весело бегущие вдоль тротуаров, напоминали о прошедшем дожде.

– Может, вас на машине подвезти? – спросил Сергей.

– А у вас есть машина?

– Упаси бог! Деньги есть. А это то же самое. Вам далеко?

– Мне? Нет. Мне совсем близко. До этой... до площади Сталина. – Она только сейчас заметила, что Сергей прихрамывает, и смутилась. – Может, вам...

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
– Нам ничего. Мы привычные. А свежим воздухом дышать только полезно.

По дороге Сергей рассказывал о последнем матче «Динамо» – «Спартак» и о том, сколько какой футболист зарабатывает. Шура молча шла рядом. Когда они дошли до площади Сталина, Сергей спросил:

– Вы очень торопитесь?

– Так себе, – сказала Шура.

– Ну, если так себе, пойдем на Днепр, посмотрим. Поверьте мне, очень хорошая река.

Они свернули на Петровскую аллею. Шура по-прежнему шла молча. Ей хотелось спросить Сергея, давно ли он знает Николая, когда они в последний раз виделись и говорил ли что-нибудь ему Николай о ней, но она не знала, как об этом заговорить, а Сергей все рассказывал о матчах, футболистах и о каком-то волосатом мальчике, который родился у его соседей и которого чуть-чуть не удушили от страха.

Они миновали стадион «Динамо» и вышли на днепровские откосы. После дождя воздух был настолько прозрачен, что, казалось, можно было рассмотреть каждый домик, каждое деревце до самого горизонта.

Тучи угнало далеко за реку, и там, где-то над Дарницей или Броварами, шел еще дождь – отсюда была видна только серая косая полоса и клубящиеся, нежно-белые вверху и почти совсем черные внизу, облака. По реке, лениво шлепая колесами, плыл маленький черненький буксир, таща за собой длинный хвост плотов.

– Смотрите, а на пляже еще люди есть, – сказал Сергей. – Интересно, что они делали во время грозы. Кстати, мой вам совет – наденьте тапочки. Вы потом не отмоете свои босоножки.

Шура осмотрелась по сторонам, куда бы сесть.

– А вот на этот дренажный колодец. Я вам газету подстелю.

Они сели на деревянный сруб. Шура скинула босоножки и надела тапочки.

– Видите, как раз по ноге. А говорили, что не нужно. Давайте, заверну. – Он аккуратно завернул босоножки и отдал Шуре. – Не хуже, чем в магазине.

– Спасибо.

– Если хотите, я могу вам и на коже достать.

– Ради бога, мне и так неловко!

– Хорошие, лосевые.

– Да перестаньте об этом говорить! Ведь мы пришли на Днепр смотреть.

– Так мы же смотрим. Вы разве не смотрите? Я смотрю. Между прочим, довольно незначительная река. Волга лучше.

– А вы видели Волгу?

– Видел. В Сталинграде.

– Вы были в Сталинграде?

– Был. Только не в, а над.

– Вы летчик?

– Был...

Пауза.

– А теперь?

– Инвалид второй группы. Отличная профессия.

– Не надо так говорить, – сказала Шура.

– Почему же? Если не ошибаюсь, ваш.. Простите, я не знаю имени и отчества.

– Вы о Феде говорите? – совершенно спокойно сказала Шура. – Да, он тоже инвалид. Что вы хотите этим сказать?

– Ничего. Только то, что сейчас много таких, как я и он. Вот и все. – Он помолчал. – Вы были у Николая?

– Была.

– Ну?

– Ничего...

Буксир хрипло загудел. На мостике кто-то махал белым флажком – навстречу шел пассажирский пароход.

– Простудился, бедняжка, – сказал Сергей.

– А вы давно с ним знакомы? – спросила Шура.

– С кем? С Николаем?

– Да.

– Две недели, даже меньше.

– А я думала, вы вместе воевали.

Они помолчали. Теперь загудел пассажирский пароход, низко и густо, и на нем тоже замахали флажком.

– А зачем вы тогда приходили? – спросила Шура.

– Как зачем? Чтоб сообщить вам..

– О чем?

Сергей удивленно посмотрел на Шуру. Она сидела совершенно прямо, не отрывая глаз от буксира, и машинально разглаживала юбку на плотно сжатых коленях.

– О чем вы хотели сообщить?

– По-моему, вы знаете о чем.

– Знаю. Но не знаю зачем. – Она пристально посмотрела на него и сразу же отвела глаза. – После того вы у него не были?

– Не был.

– Я была у него сегодня. Через двадцать пять минут я ушла. Я смотрела по часам..

– Она соскочила со сруба. – Пойдемте. Что-то холодно стало.

Господи, как трудно, когда все надо держать в себе! И не день, не два, а годы, целые годы! Да разве об этом расскажешь? И кому? Постороннему человеку, которого видишь второй лишь раз..

Она думала, что сможет все рассказать Николаю. Но она не смогла. А если б даже и смогла? Понял бы он ее? Понял бы, что значит три года жить в оккупации? Ну не три, два с половиной. Разве могут они это понять, люди, никогда этого не

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
испытывавшие?

Две женщины. Две одинокие женщины. Причем одной за шестьдесят, и она прикована к постели. Она тает на глазах. Она не жалуется, не плачет, а когда ее особенно сильно схватит боль, поворачивается лицом к стенке, и только по вздрагивающей под одеялом спине видно, как ей больно. В комнате так холодно, что замерзает вода в стакане. Под окном весь пол покрыт инеем.

«Ах, какая сегодня вкусная каша!» – говорит мама, чтоб доставить Шуре удовольствие. Она знает, что для того, чтоб купить стакан пшена, нужно полдня просидеть на морозе с мешочком семечек. «Ах, какая она вкусная!» – говорит она, а потом всю ночь мучается от изжоги.

Мать умирает на глазах, и ничем ей нельзя помочь. До последнего дня она оставалась в сознании. Правда, она многого не понимает. Она каждый день говорит о Николае и все сокрушается, что он не попал в плен. «Мама, что ты говоришь? Разве можно такое?» – «Нет, нет, Шурочка, я понимаю. Я только думаю, что он мог бы убежать или его освободили бы: ведь они кого-то там освобождают, – и он пришел бы к тебе, к нам. А потом пришли бы наши. Разве ты не хочешь видеть Николая?» – «Хочу, очень хочу, но разве можно плен?» – «Я знаю, Шурочка. Я все понимаю. Но разве нельзя помечтать?»

Она так и не дождалась ни Николая, ни наших. Она умерла в тот день, когда немцы подожгли соседний, двадцать шестой номер. «Почему такой дым? – спрашивала она. – Надо, вероятно, прочистить дымоходы. Ты попроси Егора, он согласится. Он всегда соглашается, когда его попросят». Она умерла в восемь часов вечера, а в девять пришли эсэсовцы и вынесли всю обстановку, оставили только кровать, на которой лежала мать – маленькая, совсем как ребенок, – два стула и стол. Они были поедены шашелем, и эсэсовцы не захотели их брать.

Она похоронила маму без гроба. Егор помогал копать могилу. Он же достал подводу, на которой везли маму – просто так, завернутую в простыню. Это было в конце октября прошлого года. Через две недели пришли наши.

Она даже не помнит, как попала в эту квартиру. Вероятно, соседи привели. Сначала их было много – человек десять в одной комнате, с детьми, с какими-то узлами. Потом, когда гитлеровцы стали угонять жителей, соседки одна за другой исчезли, разбежались по окраинам, пригородным селам. Она осталась одна, совсем одна в пустой квартире. Днем сидела на чердаке, когда немцы ходили по квартирам, на ночь спускалась вниз.

В ночь на 6 ноября на улице все время была перестрелка. Всю ночь она просидела на чердаке. Сквозь слуховое окошко было видно, как горит город. Утром она спустилась в квартиру. В ней были бойцы, наши бойцы.

Может ли понять Николай, что значит увидеть своих после двух с половиной лет? После того, как немцы были под самым Сталинградом и целый день их радио кричало, что Советская Армия почти полностью уничтожена? Может ли он это понять? Она смотрела на этих солдат – грязных, обросших, пропахших насквозь махоркой и потом, и они ей казались красивее всех. Она стирала им белье, латала и штопала обмундирование, варила им обед. Один из них был ранен, совсем молоденький лейтенант, какой-то их начальник. Его нельзя было переносить, и он лежал тут же, на единственной кровати, и она за ним ухаживала. Госпитали были переполнены, люди лежали на полу. Его часть ушла вперед, он остался у нее.

Соседки – новые, появившиеся после освобождения города, – стали шушукаться чуть ли не с первого дня. В разговорах с ней они называли его не иначе, как «ваш». «Вашему там письмо пришло... Ваш опять расплескал вокруг умывальника воду».

У него были перебиты обе ноги. Это было, очевидно, очень больно, но он не стонал, а только стискивал зубы и смотрел в потолок. Когда бойцы уходили, многие из них плакали. Они любили своего лейтенанта и за глаза называли его Федюшей. Он был моложе самого молодого из своих бойцов – ему было только девятнадцать лет, а на вид и того меньше. У него еще был пушок на верхней губе, а бороды совсем не было.

Боже мой, Шура чувствовала себя совсем старухой рядом с ним! Когда перед стиркой, меняя ему рубашку, она смотрела на его совсем еще мальчишеское тело с

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru выдающимися ключицами и лопатками, ей казалось, что это ее сын, хотя она была всего лишь на пять лет старше его.

Потом его забрали в госпиталь. Она носила ему передачу – какие-то жалкие булочки и сметану, которую он очень любил. Через полгода он уже ходил на костылях. Его демобилизовали и дали ему вторую группу. Жить ему было негде. Семья его, отец и мать, жили где-то около Риги – отец до войны работал на заводе ВЭФ, но там были еще немцы. Она поступила так, как, по ее мнению, поступил бы каждый на ее месте, – ведь он прожил здесь почти три месяца, и все равно соседки называли его «ваш».

И случилось то, что не могло не случиться, когда двое молодых людей живут под одной крышей.

Была ли это любовь? Со стороны Федя – да. Возможно даже, что это была его первая настоящая любовь, первая любовь человека, прямо со школьной скамьи попавшего в водоворот войны и в этом водовороте столкнувшегося с приласкавшей его женщиной. А со стороны Шуры? Очевидно, тоже да. Но это была какая-то другая любовь, совсем особая, родившаяся из сострадания к этому молоденькому, тяжело раненному человеку, первому человеку с красной звездочкой на пилотке, которого она увидела после двух с половиной лет оккупации.

Как это могло случиться? Ведь все эти годы она думала только о Николае. Она и теперь о нем думала. Часто по ночам, закрыв глаза, она лежала и думала о нем. Она старалась представить его себе в военной форме, в которой никогда его не видела, – когда она с ним прощалась, он был в лыжном костюме и тапочках на босу ногу, – и он рисовался ей почему-то в каске, которая, как ей казалось, очень должна была ему идти, и с гранатами на поясе. «Солдаты должны его любить, – думала она, – любить и уважать, потому что он прост, весел и смел», – в этом она не сомневалась. Она не верила в его смерть, она ждала его. Она тысячу раз представляла себе, как он постучит в комнату, войдет, посмотрит на нее. И ей становилось вдруг радостно и весело.

Может ли Николай все это понять? И захочет ли? Понять ее одиночество, ее тоску. Она ждала Николая, но его не было. Она ждала писем, их тоже не было. Она понимала, что чем дальше Федя живет у нее, тем положение становится сложнее. Но она ничего не могла поделать. Ей нужна была помощь. И вот бедная, растерявшаяся, сама не понимающая, что происходит, Шура ждала ее от Николая. Ждала все эти годы, ждала и сейчас. Он один может все это распутать. Он один... Пусть бы он только приехал.

И вот он приехал. И она ему ничего не сказала. Она не нашла в себе смелости заговорить об этом первой. А он даже ни разу не улыбнулся. Он сидел и курил трубку. Вот и все.

...Шура и Сергей молча прошли Петровскую аллею. Возле сожженной библиотеки расстались. Сергей пошел направо; Шура подождала, пока он скроется, потом пешком пошла домой.

– 9 –

Рана Николая быстро заживала. Тот самый Гоглидзе, о котором говорил когда-то Сергей, флегматичный, невозмутимый хирург, произносивший не больше десяти – двенадцати слов в день и со скучающим, безразличным видом делавший самые сложные операции, щупал своими большими красивыми пальцами с коротко остриженными ногтями рану Николая и, позевывая, говорил:

– Что ж, можно уже и к физическим приступать...

Это значило, что грануляция идет хорошо, а на месте перелома появилась костная мозоль.

Николай стал ходить в физиотерапевтический кабинет. Маленькая, черненькая, почти совсем глухая от контузии, но живая и проворная, несмотря на свои пятьдесят лет, сестра-татарка, которую все звали просто Бариат, потому что никто не мог запомнить ее отчества – Бадрутдиновна, делала ему диатермию и гальванизацию и восторгалась его аккуратностью. Николай приходил ежедневно в точно назначенный час и терпеливо сидел на своей скамеечке, обложенный мешочками с песком. Он даже находил какое-то удовлетворение и успокоение в этих ежедневных хождениях к Бариат. Хоть и скучно, но все-таки как-то приближает выписку, приближает фронт.

Сергей так и не появлялся: очевидно, опять куда-то уехал. Один из двух язвенников выписался. На его место, как раз рядом с Николаем, лег пожилой полковник с трофической язвой на ноге. Он был ворчлив, подолгу и еще подробнее, чем остальные, говорил о своей болезни и не разрешал курить в палате. Николай стал еще реже в ней бывать и все чаще ходить в библиотеку помогать симпатичной Анне Пантелеймоновне сортировать книги. Это было чем-то вроде партийной нагрузки, придуманной специально для него майором Касаткиным, считавшим, что этим самым он убивает двух зайцев: с одной стороны усиливает, так сказать, партийное ядро библиотеки, а с другой – отвлекает «ранбольного» от иных, менее полезных занятий.

Как-то, придя в библиотеку перед самым ее закрытием, Николай застал Анну Пантелеймоновну завязывающей толстую стопу книг. Увидев Николая, она, слегка смущаясь, попросила его дотащить их до ворот.

– Там дочка будет ожидать, на территорию ее не пускают, а до ворот я сама не дотащу. Это все не ходкие книги. Хочу завтра обменять в коллекторе на новые.

Николай охотно согласился. На полпути Анна Пантелеймоновна забеспокоилась, что ему тяжело их нести в одной руке, и предложила разделить пачку на две, чтобы и она могла что-нибудь нести. Николай рассмеялся.

– Я спортсмен, мамаша. Когда-то этой самой левой рукой двухпудовую гирию раз пятнадцать выжимал.

– Ну, смотрите, смотрите. А то я тоже физкультурница. При немцах на четвертый этаж два ведра таскала.

Они подошли к воротам. Кроме облокотившегося о перила часового, там никого не было.

– Вероятно, на лекциях задержалась, – сказала Анна Пантелеймоновна.

– А где ваша дочка учится?

– Не учится, а учит. Английский язык преподает. В строительном институте, не как-нибудь.

Они немного постояли.

– А где вы живете, Анна Пантелеймоновна.

– В двух шагах, вон за тем домом, видите? – Она указала рукой в сторону стадиона. – По тропинке только спуститься, и сразу же налево.

Николай подхватил книги.

– Пошли.

– Что вы, что вы! – испугалась Анна Пантелеймоновна. – Вам неприятности потом будут.

– Чепуха, мамаша, я к ним привык.

Когда они дошли до запущенного четырехэтажного дома с какими-то облупившимися полуголыми старцами на фасаде, Николаю так вдруг не захотелось возвращаться в свою палату с нудным полковником, что он, даже не отказавшись из приличия, сразу согласился зайти попить чаю.

Они поднялись на четвертый этаж.

Таких комнат, как та, в которую он попал, Николай никогда еще не видел. Большая, почти квадратная, с большим окном и дверью, выходящими на заросший виноградом балкон, залитая сейчас лучами заходящего солнца, она поражала невероятным количеством книг. Они были везде: на изогнувшихся под их тяжестью полках вдоль стен, на полках дивана, на подоконнике, но больше всего на полу, прикрытые какими-то ковриками и старыми одеялами. На свободных от полок кусках стен и на

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru самих полках висели фотографии. Их было тоже очень много: какие-то мужчины и женщины в смешных туалетах, виды незнакомых городов, озер и гор. Над диваном висела небольшая, но сразу бросающаяся в глаза картина – озеро или пруд и склонившиеся над ним, тронутые осенью деревья.

Николай стал рассматривать фотографии. Чаще всего попадался мужчина с усами и в пенсне («Очевидно, муж», – подумал Николай) и хорошенькая девочка с косичками и смеющимися глазами («Вероятно, дочь»). Потом выяснилось, что мужчина с усами вовсе не муж, а отец, а девочка с косичками – сама Анна Пантелеймоновна.

– А где ваш муж? – спросил Николай.

– Мой муж?

Анна Пантелеймоновна указала на маленькую, выцветшую фотографию, висевшую над диваном. Подстриженный бобриком мужчина с ружьем в руках и дама, подпоясанная широким поясом, с перекинутым через плечо биноклем, стояли возле нагруженного тюками ослика.

– Это мы в Монголии. В тринадцатом году. Видите, какая я была тогда молоденькая... Ага... Явилась наконец.

В комнату быстро вошла очень похожая на Анну Пантелеймоновну в молодости стройная девушка, с бросающимися в глаза бронзово-рыжими, по-мужски подстриженными волосами. На ней была старенькая лыжная курточка, в руках военная полевая сумка.

– Ты где пропадала, а? Пришлось вот капитана нагружать. Сколько мы с вами там простояли, Митясов? Минут двадцать, вероятно.

– Ну вот и сочиняете! – Девушка бросила сумку на диван. – Мне часовой сказал, что вы и пяти минут не ждали. Так что не надо, пожалуйста. – Она прямо и с некоторым как будто любопытством посмотрела на Николая. – А вы, значит, тот самый капитан, который про войну и любовь не любит читать?

– Тот самый, – смутился Николай.

Анна Пантелеймоновна тоже смутилась.

– Ведь и ты не любишь про войну. – Она взглянула на Николая так, будто хотела его убедить, что ничего дурного нет в том, что он не любит читать какие-то там книги. – Валя сама в «Войне и мире» всю войну пропускает.

– Вот и не пропускаю. Там, где Пьер, не пропускаю.

– А где Андрей? – Анна Пантелеймоновна чуть-чуть улыбнулась.

– Где Андрей, пропускаю. Я его не люблю ни на войне, ни дома. – Она повернулась к Николаю. – А вы любите Андрея?

Николай замаялся – он не читал «Войну и мир».

– Как вам сказать...

– А Николая? Ростова?

– Ничего.

– А Пьера?

«Вот пристала», – подумал Николай и сказал, что Пьера любит, но вообще читал уже давно и многое забыл.

– Мать, завтра же дай ему первый том.

Потом пили чай, и Валя рассказывала про какого-то студента, который сдавал за другого и сдал, но не тому преподавателю, и в связи с этим произошло что-то очень смешное. Потом мать и дочь опять заспорили об Андрее и Пьере, и Николай,

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru чтоб отвлечь их от этой опасной темы и переключить на что-нибудь более знакомое ему (в конце концов, нельзя же все время молчать), заговорил о появившемся сегодня в газетах сообщении о взятии Праги, предместья Варшавы. Но и здесь инициатива почти сразу же была выбита у него из рук. Обе женщины заспорили вдруг о варшавском восстании.

Спор длился довольно долго. Спорщицы взывали к Николаю, к его справедливости, к знанию военного дела, но только он успевал открыть рот, как они опять набрасывались друг на друга. Потом спор неожиданно прекратился. Николай никак не мог уловить, отчего и почему он прекратился, но разговор вдруг зашел о Монголии и Тянь-Шане, где Анна Пантелеймоновна была со своим мужем-геологом тридцать два года тому назад. Анна Пантелеймоновна весело и остроумно рассказывала об их злоключениях.

Николай незаметно выпил три или четыре стакана чаю и, только когда с ужасом увидел, что съедено почти полбанки варенья, стал откланиваться.

– Идите, идите, – засуетилась Анна Пантелеймоновна. – Ей-богу, неприятности будут. Идите...

Николай распрощался и ушел.

Впервые за месяц своего пребывания в госпитале он чувствовал себя легко и весело. Мать и дочь ему очень понравились. Валя, правда, показалась ему немного грубоватой, похожей на парня, – как-то очень уж по-мужски стриженные волосы, и курточка эта лыжная, и слишком энергичные для девушки манеры, зато в Анну Пантелеймоновну он просто влюбился.

Хорошие люди, думал Николай, взбираясь в темноте по знакомой тропинке, очень хорошие. И сколько книг! Но живут, видать, туговато. Туфли-то у мамы совсем стоптанные и чулки штопанные-перештопанные. А он-то полбанки варенья умял, дурак! На зиму, должно быть, с трудом сварили, а он за каких-нибудь полчаса... А отец-то ее, очевидно, крупный какой-нибудь, важный человек был – воротничок стоячий, пенсне... Наверное, недоволен был, когда она за своего геолога вышла. Тот, видно, из простых был – все в рубашечках да сапогах. Куда он девался, интересно? Погиб, или, может, разошлись? Они ничего об этом не говорили, а спрашивать как-то неловко. А вообще хорошие люди, очень хорошие.

Вернувшись в отделение (к ужину он опоздал), Николай, не заходя в свою палату, прошел в двадцать шестую и там до двух часов просидел, болтал с сестрами и больными.

– Что-то у вас вид утомленный и синяки под глазами, – говорил наутро полковник и многозначительно тряс своей плешивой головой. – А я-то вас весь вечер ждал. Соня меняла повязку, и я хотел похвастаться. Знаете, насколько уменьшилась язва? Вы никогда не поверите. Идите-ка, я вам покажу по секрету, – если просунуть карандаш и приподнять повязку, хорошо видно.

– 10 –

Так началось знакомство Николая с семейством Острогорских. Сначала редко, потом все чаще и чаще стал заходить он к ним в промежутке между обедом и ужином. Варенье скоро кончилось, и Николай, как ни возражала Анна Пантелеймоновна, приносил с собой госпитальный сахар и масло, которого не ел.

Обычно Николай заходил за Анной Пантелеймоновной в библиотеку, и они вместе шли домой, а потом, до прихода Вали из института, он помогал Анне Пантелеймоновне на кухне чистить картошку – врачи велели ему как можно больше двигать правой рукой, и чем мельче движения, тем лучше.

Потом приходила Валя, всегда полная новых впечатлений и рассказов, и тут-то начиналась жизнь. Мать и дочь не умели говорить спокойно, они всегда спорили очень горячо и никогда друг на друга не обижались. Николая это очень забавляло. Особенно повторявшийся изо дня в день спор о сервировке стола.

– Когда ты наконец от всех этих фронтовых привычек отделаешься? Разве не приятнее есть за чистым столом со скатертью, чем...

– Скатерть стирать надо, а у меня времени нет.



– Видали? – Анна Пантелеймоновна искала поддержки у Николая. – Хорошо еще, курить отучилась, а то разило махоркой за версту, как от солдата.

– Так я ж и есть солдат, – смеялась Валя.

– Была. А теперь педагог. Не представляю, как и чему ты своих студентов учишь. Ты хоть их по фамилии называешь или Ваньками и Петьками, как своих зенитчиков?

– Как случится.

– Нет! Ни грамма женственности. Запомните мои слова, Николай Иванович, так в старых девах и умрет! Кому она нужна такая?!

Николай смеялся и, соблюдая разумное равновесие, принимал сторону то одной, то другой. Иногда, правда, мать и дочь объединялись, – это было тогда, когда к ним приходил Валерьян Сергеевич, сосед из первой комнаты направо.

Валерьян Сергеевич был корректором. Этим делом он начал заниматься еще тогда, когда ни Николая, ни Вали не было на свете, в петербургской «Биржевке», и, пройдя штук пятнадцать газет, включая армейскую, работал сейчас в местной, городской.

Он был холост, держал не то пять, не то шесть кошек, которые без конца плодились и съедали почти весь его паек, ходил дома в мохнатом халате с длинными висящими нитками, которые за все цеплялись, и не выпускал изо рта трубки с невероятно вонючим и крепким самосадом собственной резки. От него пахло всегда табаком и одеколоном, так как брился он каждый день, и всегда неудачно: сухое, пергаментное лицо его было усеяно бумажками и ватками, а где-нибудь возле уха или на шее оставался недобритый кусочек.

Обычно он приходил за какой-нибудь книгой, но это было только предлогом. Взяв книгу, он говорил: «Зачем вы держите эту гадость? Я б ее давно сжег», или: «Ну вот, опять подсовываете мне Чехова. Я ж его наизусть знаю, от корки до корки».

– Так не берите, если знаете.

– А что ж брать? У вас ничего нет. Дайте мне Элизе Реклю. Есть? Нету. Фабра о муравьях. Есть? Нету. Что ж у вас есть? Ведь вы библиотекарь, Анна Пантелеймоновна.

– Ладно. Вы чаю выпьете?

– Нет, – решительно говорил он и, сев за стол, машинально, ни на минуту не прекращая разговора, выпивал полчайника.

Он все и всегда осуждал, но только до того момента, пока кто-нибудь, в свою очередь, не начинал что-нибудь осуждать. Тогда он принимался яростно защищать.

– Ох, сегодня опять вечером собрание! – говорит Валя. – Совсем замучили.

– Замучили, потому что вам безразлично, что там происходит, – говорил Валерьян Сергеевич, заполняя комнату клубами своего вонючего дыма. – Вы думаете только о том, чтоб оно поскорей кончилось. Вам наплевать на то, что там говорят, наплевать, потому что вы торопитесь на свидание, потому что вы не общественница и вам ничуть не интересно, чем живет ваше учреждение.

– Вы ошибаетесь, Валерьян Сергеевич.

– Нет, не ошибаюсь. Я знаю, что вы мне сейчас скажете. Я все знаю. Про снайперский кружок. Да? Угадал? Чепуха! Это не общественная работа. Это привычный рефлекс. Когда вы были в армии, вы стреляли в самолеты; теперь самолетов нет, но вы не можете не стрелять. Ясно? Где моя книга? Я ушел.

После этого он сидел еще добрых полтора–два часа, и если уходил, то только потому, что надо было идти на дежурство или начинала орать в коридоре кошка.

Заходили и другие соседи. Вообще эта квартира, как говорила Анна

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru Пантелеймоновна, была, пожалуй, одной из немногих в городе коммунальных квартир, в которой все живут дружно. В ней было пять комнат, и в каждой жило по семейству.

Ближайшими соседями были Блейбманы – Муня и Бэлочка. Оба были художниками: Муня плакатином, Бэлочка книжным оформителем. Мунины плакаты – ими была увешана вся их комната – изображали стремительных бойцов с энергичными лицами, и, глядя на них, трудно было себе представить, что рисовал их тихонький, скромненький, грустно на всех смотрящий большими библейскими глазами из-за очков Муня.

Бэлочка, не под стать ему, красивая, полная, может быть даже слишком полная, чтоб быть красивой, брюнетка с маленькими усиками, обожала своего Муню и не сводила с него влюбленных глаз.

Блейбманы были молодоженами и никогда не говорили о себе в единственном числе, всегда во множественном: «Мы еще не читали этой книги», «У нас с Бэлочкой сегодня вечером занятия», «Мы с Муней сделали новую обложку». Работали они дома и почему-то преимущественно ночью. Работы свои – плакаты и обложки – относили заказчикам всегда вместе. Вообще все, что они ни делали, они делали вместе, даже гриппом заболели в один и тот же день.

Муня был мучительно застенчив. Вероятно, именно поэтому Яшка Бортник – квартирный остряк и весельчак, шофер, живший в бывшей комнате для прислуги, – плескаясь по утрам на кухне и хлопая себя по здоровенной спине, спрашивал громким шепотом, так, чтоб все слышали:

– А скажите, Муня, с какой это девушкой я видел вас вчера на улице, а?

Муня краснел, а Яшка ржал на всю кухню так, что с потолка сыпалась штукатурка, и подсовывал свою кудлатую голову под кран.

– Ну ладно, ладно уж, не скажу Бэлочке.

Яшка Бортник работал в «Союзтрансе». Работой своей он был доволен, зарабатывал неплохо, но, как говорила Валя, деньги ему жгли карман. Приходил вдруг к Анне Пантелеймоновне и говорил:

– Слушайте, возьмите-ка у меня пару сотен.

– Это зачем же, Яша?

– Зачем или не зачем, а возьмите...

– Да не надо мне, Яша. Пятнадцатого у меня получка, а у Вали двадцатого.

– Так не для вас, а для меня. Возьмите. Меньше потрачу, ей-богу! – и совал растерянной Анне Пантелеймоновне грязные, пахнувшие бензином бумажки.

После недолгого сопротивления Анна Пантелеймоновна брала (до пятнадцатого оставалась еще неделя, а денег действительно не было), но когда в получку пыталась вернуть, Яшка говорил:

– Ой, только не сегодня! Сегодня как раз хлопцы собирались ко мне прийти, вот и полетит все в трубу. Давайте лучше до завтра отложим.

А завтра опять что-нибудь придумывал.

Вообще парень он был хороший, всегда был весел, услужлив, всему дому чинил примусы и замки. Дома ходил всегда в каких-то маечках и сеточках, чтоб все видели его мускулатуру, и большего счастья для него не было, как передвинуть с места на место какой-нибудь тяжеленный шкаф или втащить на пятый этаж пятипудовый мешок картошки, обязательно бегом, через одну ступеньку.

– Сердце – будь здоров. Послушай. – И все должны были слушать его безмятежно спокойное и ровное сердце.

В пятой комнате жили Ковровы: отец, мать и шестнадцатилетний Петька – здоровенный, на голову перегнавший отца, длиннорукий, неуклюжий парень с

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru ласковыми глазами. Он был заядлым шахматистом, фотографом и, если б не война, наверное, был бы радиолюбителем.

Отец, Никита Матвеевич, работал столяром-краснодеревщиком на мебельной фабрике, а по вечерам «халтурил» дома, и в комнате их всегда приятно пахло сосновыми стружками и опилками. Мать Петина, или «старуха», как называл ее Никита Матвеевич, хотя ей было немногим больше сорока, а самому Никите Матвеевичу порядком уже за шестьдесят, коренная москвичка, говорила с таким певучим замоскворецким произношением, что Анна Пантелеймоновна, слушая ее, восторгалась: «Ну просто Малый театр, собственная Турчанинова или Рыжова...»

Был у Ковровых еще и старший сын, Дмитрий, но он был на фронте, в Румынии. Над ковровским верстаком висел его портрет в золоченой, собственного Никиты Матвеевича изготовления рамке, – молоденький, курносый, очень похожий на отца сержант, на фоне замка и пльвущих по озеру лебедей. Письма от него приходили не часто, но довольно регулярно, и хотя в них, кроме бесчисленных поклонов и «воюем помаленьку», ничего не было, обсуждались они до малейших деталей всей квартирой.

Николай почти сразу стал своим человеком. Валерьян Сергеевич, любивший поговорить о политике и событиях на фронтах, заводил его к себе, и там на громадной, во всю стену, карте Европы обсуждал с ним предполагаемые удары и делал прогнозы на ближайший месяц. Блейбманы преимущественно консультировались на всякие медицинские темы, и Николай приносил из госпиталя Муне пирамидон с кофеином, – его по ночам одолевали головные боли. Яша Бортник любил Николая потому, что он вообще всех любил, а к тому же оказалось, что они в сорок втором году были в одной армии и вспоминать им обоим было о чем.

Но кто больше всего любил Николая, так это Анна Пантелеймоновна. Может быть, именно поэтому она часто пилила его:

– Ну, почему бы вам не заняться языками? Целый день ничего не делаете, а ведь я знаю французский, Валечка – английский... Ведь вы офицер. Офицер должен быть культурен.

– Ох, мамаша, – смеялся Николай, – где там о языках думать? На фронт скоро, а вы о языках.

– И отучитесь, пожалуйста, от этих «мамаш». У меня есть имя, есть отчество – неужели так трудно запомнить? А насчет думать... Сколько вам лет?

– Двадцать пять уже.

– Господи боже мой, почему вы все считаете себя стариками? Вы и жизни-то по-настоящему не видели.

– Ну, это уж, мам... Анна Пантелеймоновна, не говорите! Три года на фронте...

– Чепуха! Честное слово, Колечка, посмотрю я на вас, и мне кажется, что я ку-уда моложе вас всех.

Николай соглашался: в Анне Пантелеймоновне действительно молодости хватало на десятерых. Маленькая, подвижная, она, казалось, никогда не устает. Придет в девятом часу, наскоро чего-нибудь хлебнет и уж бежит куда-то.

– Ты куда, мать?

– К Пустынским. У них, кажется, «Анна Каренина» есть. Третий день уж Ковальчук из хирургического просит, а она на руках. Я мигом...

Старик Ковров только улыбался и поглаживал свою лысину. Кстати, сам он тоже не прочь был, подобно Анне Пантелеймоновне, попилить Николая.

– Вот ты, капитан, ей-богу, чудак, – говорил он, откладывая рубанок и сворачивая сигарку толщиной в свой корявый коричневый палец. – Ну что ты все на фронт рвешься? Чего, спрашивается? Свое дело ты уже сделал, хай другие теперь повоюют. Ну, в сорок первом, сорок втором, я понимаю, все на фронт рвались. А сейчас? Куда уж ему? («Он» – это означало Гитлер.) И без вас до него доберутся и шею свернут.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Вот и не хочется, батя, – здесь Николаю разрешалось так говорить. – Вот и не хочется, чтоб без нас.

– А еще чего тебе не хочется? Работать тоже не хочется? А? Разбаловался там, на войне? Немец бежит, а тебе бы за ним, трофеи только подбирать.

Николай смеялся.

– Не всегда и не везде бежит, батя. Сейчас, например, на Висле, ребята пишут...

– Ну и пусть пишут. Наш Митька тоже пишет. Я же про него ничего не говорю. У него руки и ноги целы.

В этом месте Марфа Даниловна всплескивала руками:

– Да ты что говоришь! Побойся бога!

– А ничего я не говорю, – дразнил ее старик, – говорю, что руки и ноги целы, может еще и повоевать. А у этого... Покажи-ка, пальцы работают?

Николай пытался пошевелить пальцами, но это еще не выходило, – чуть-чуть только удавалось на несколько миллиметров отодвинуть большой палец.

– Тоже мне вояка! – Никита Матвеевич, сплюнув на пол, после чего всегда оборачивался, не заметила ли «старуха», растирал ногой плевков и брался за рубанок. – Пока твои пальцы заработают, война кончится. Что тогда делать будешь?

– Еще не знаю, Никита Матвеевич.

– А пора бы знать. Не нам же, старикам, после войны все делать! Бездельник ты, вот что...

Николай любил заходить к Ковровым, хотя там всегда был отчаянный беспорядок. Старик мастерил какие-то этажерки и полочки, Марфа Даниловна что-нибудь гладила или штопала, Петька, сидя в углу на полу, путался в каких-то проволоках и паял детали какой-то никому не известной машины. Николай сидел в углу, покуривая, и с завистью смотрел на всех троих. Шипит примус с кипящим на нем столоярным клеем, шипит Петькин паяльник, пахнет клеем, смолой, керосином, и от всего этого становится как-то уютно и весело. Что и говорить! Иногда просто приятно посмотреть, как другие работают, когда сам лишен этой возможности.

Вообще с того дня, как он выпил в этой квартире первый стакан чаю с малиновым вареньем, Николай почувствовал, что дни вовсе не так уж длинны. Его даже перестал раздражать полковник Зилеранский со своей язвой. Нашлись какие-то общие, помимо лечения, темы для разговоров, и все чаще строгая, всем недовольная сестра-хозяйка, заглядывая в палату, говорила: «Нельзя ли потише, товарищ Митясов? Ваш голос даже в операционной слышно. Просто не узнаю вас...» А операционная сестра Дуся, все и всегда обо всех знавшая, начиная от главного врача и кончая вчера только поступившим больным, как-то после перевязки покачала головой и сказала дежурной няне:

– Появилась женщина. Факт.

– 11 –

Острогорским должны были привезти дрова. Валин институтский завхоз был расторопен и загодя, еще до наступления первых осенних холодов, обеспечил всех сотрудников хорошими дубовыми дровами. Договорено было, что Яшка привезет их на своей машине, а Николай с Петькой Ковровым распилят и наколют.

Дрова должны были привезти в четыре, но Николай задержался со своими процедурами и вышел из госпиталя в начале пятого.

На мосту, у входа, столкнулся с Сергеем.

– Ты куда? – спросил Сергей.

– В гости.

- К кому?
- К знакомым.
- Обзавелся уже?
- Да, обзавелся.

Николай ожидал дальнейших вопросов в стиле Сергея, но тот только сказал:

- Я тебя провожу. Не беги только, мне под гору трудно.
- Ты где пропадал? – спросил Николай.
- Где надо, там и пропадал.
- Просьбу мою, конечно, не выполнил?
- Почему конечно? В адресном столе Куценко нет. Если б был, я б тебе сообщил.

Когда они спустились с горы, Сергей сказал:

- Ты что, в театр торопишься? Боишься опоздать?
- Нет, не в театр.
- Так чего ж ты бежишь? Двухногий... Мне протез ногу натер.

Они пошли тише.

- Я видел твою Шуру, – сказал Сергей.
- Где? – Николай удивленно посмотрел на него.
- Не все ли равно где.
- А откуда ты ее знаешь?
- Знаю, и все. По-моему, ты должен к ней сходить.

Николай остановился.

- Говори толком!
- Ага... Заело.
- Брось дурака валять! Когда ты ее видел?
- Может, сядем?

Они сели на парапет у входа на стадион.

- Так где ты ее видел?
- В обувном магазине встретил.
- Ну?
- Я считаю, что ты должен к ней пойти.
- Зачем?
- Это уж твое дело. Но я так считаю.
- Слушай, Сергей; какого дьявола ты говоришь загадками?

Сергей мрачно улыбнулся.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

- Она тебе говорила, что я у нее был?
- Ты? У нее? Нет, ничего не говорила. Зачем же ты к ней ходил?
- Так просто. Захотелось.
- А ну тебя!..

Николай встал.

- Сядь, сядь... Я тебе серьезно говорю; сходи к ней. Я видел ее после вашей встречи. Тут что-то не то. У меня ведь есть на это чутье.
- Что она тебе говорила?

- Ничего не говорила. Я говорил. Мы прошлись с ней до Днепра и обратно. Ей надо было на площадь Сталина. Кроме того, я познакомился с дядей Федей. Не в этот раз, а в первый, когда заходил к ней.

Николай вопросительно взглянул на Сергея. Сергей смотрел куда-то в сторону.

- Пацан! Верь моему слову, тут что-то не так.

Николай промолчал. Ему было неприятно, что Сергей заговорил о Шуре. При чем тут Сергей? И зачем он к ней заходил? И зачем вообще он вмешивается? Сергей дернул его за рукав.

- А может, в забегаловку заскочим? Здесь недалеко. Та самая, где мы познакомились. Тяпнем по маленькой, и катись на все четыре стороны.
- Не хочу.
- Вот черт трезвый! Ты что, вообще перестал водку пить?
- Просто не хочется. Не интересуется сейчас.
- И что собой представляет дядя Федя?
- Тоже не интересуется. И вообще это мое дело. Не твое и не чье-либо, а мое. Понял?

Сергей пожал плечами:

- Ну, раз не мое, тогда... будь здоров!

Он крутнул в воздухе палкой и ушел.

Только пройдя квартал, Николай почувствовал, что разговаривал с Сергеем не так, как надо. Ну чего, спрашивается, он на него разозлился? Ну, не его дело, допустим, но ходил-то он ведь к Шуре не для себя, а для него, Николая... Может, вернуться?

Николай взглянул на часы. Без четверти пять. Поздно!

Придя к Острогорским, Николай застал всю квартиру толпящейся вокруг сваленных на полу здоровенных плах и обсуждающей, на сколько времени их может хватить и что экономнее: на две или три части пилить каждую плаху? Петька разводил пилу.

- Мы сейчас с дядей Колей покажем класс. Он теперь тоже левша, - Петька был левшой.

Яшка с шумом расчищал место для козел.

- Бесплатно делать не будем, учтите это, Анна Пантелеймоновна. Всякая работа вознаграждения требует.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Ладно, ладно! Уходите же.

– Я не шучу. На четвертый этаж все-таки таскали.

– Да уходите, ради бога, не мешайте! – Анна Пантелеймоновна пыталась вытолкнуть здорового Яшку из кухни, но тот упирался. – По рюмке наливки, так и быть, уж дам.

– И не на кухне, а у вас, из рюмочек, по-интеллигентному.

Наконец всех удалось выпроводить, и Николай с Петькой приступили к пилке. У них не очень-то получалось – пила все время заскакивала, оба обвиняли друг друга в неумении пилить. Когда пришла Валя, Николай прогнал Петьку учить уроки, взял пилу в правую руку. Дело пошло лучше, хотя руку приходилось все-таки привязывать бинтом к рукоятке пилы. Рука скоро уставала, и приходилось опять переходить на левую.

Валя покраснелась, ее бронзово-рыжие волосы растрепались и падали на глаза, левая рука упиралась в плаху, а правая равномерно и с силой тянула к себе пилу.

– Вы хороший пильщик, – сказал Николай.

– Хороший, – согласилась Валя и ловко подхватила отвалившийся кусок плахи. – Только спина с непривычки болит. – Она отбросила чурбак в сторону и посмотрела на форточку. – Какой дурак ее закрыл? Жарко...

Она легко вскочила на подоконник, открыла форточку, хотела соскочить на пол, но зацепилась юбкой за шпингалет.

– Вот черт! Единственная юбка. – Стоя на подоконнике, она наклонилась и пыталась отцепить юбку. – Ну, чего вы смотрите? Помогите!

Николай подошел. Валя стояла над ним, и от неудобного положения и досады лицо ее еще больше покраснело. Волосы почти совсем закрывали лицо, и видны были только зубы, которыми она прикусила нижнюю губу.

Николай отцепил юбку, потом, обхватив левой рукой, снял Валю с подоконника, но не сразу поставил на пол, а, крепко прижав к себе, донес до козел. Валя, чтоб не упасть, схватила его за шею.

– Эге, да вы совсем легонькая! – сказал Николай, смотря на нее снизу вверх.

– Пустите! – Валя обеими руками оттолкнула его голову.

Николай осторожно поставил ее на пол и улыбнулся. Валя не смотрела на него, она рассматривала порванное место юбки. Потом взяла пилу, тряхнула ею так, что она жалобно запела, потрогала пальцами зубцы и поставила в угол.

– Чего ж это вы, Валя?

– Хватит на сегодня, – не глядя, сказала она и быстро вышла из кухни.

Через полчаса собрались у Острогорских. Петька под шумок подливал в рюмку и сидел потный, довольный, с блестящими глазами. Валерьян Сергеевич оседлал Муню. Поминутно всовывая в лампу бумажку и зажигая от нее гаснущую трубку, ничего не слушая, он доказывал Муне, что к Новому году война обязательно должна кончиться. Муня соглашался.

Валя вначале сидела молча, с безразличным видом ковыряя консервы. Анна Пантелеймоновна несколько раз на нее взглядывала, потом спросила, не случилось ли у нее что-нибудь на службе. Валя, сказав, что ничего, вдруг оживилась, налила себе и пытавшейся сопротивляться Бэлочке по полной рюмке наливки и стала громко и возбужденно о чем-то ей рассказывать. Бэлочка сонно кивала головой и отодвигала рюмку.

– Да, да, ей нельзя! – Муня отодвигал рюмку еще дальше. – Сейчас ей никак нельзя! Даже наливки нельзя!

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
По радио объявили: «Московское время двадцать два часа одиннадцать минут.  
Передаем беседу...» Валя встала, выключила радио и, сказавши: «Фу, как жарко!» –  
вышла на балкон.

В комнату постучался и вошел, смущенно поглаживая лысину, Никита Матвеевич.

– Моя старуха не у вас?

Яшка блеснул глазами.

– Давай, давай, старина. Тащи только свое «энзе». Я знаю, у тебя там есть в сундучке.

Николай уступил место Никите Матвеевичу, постоял немного у дивана, перелистывая книгу, потом тоже вышел на балкон.

У Острогорских был большой, величиной почти с комнату, густо увитый виноградом балкон. Днем с него открывался прекрасный вид на Новое Строение, Сталинку и Голосеево. Сейчас же ничего этого не было видно – город маскировался, и только изредка, справа, проносились по Красноармейской автомашины с синими фарами. Где-то очень далеко, очевидно над Каневом или Трипольем, беззвучно вспыхивали зарницы. Недавно прошел дождик, и в воздухе пахло свежей землей и отцветающим уже табаком.

Валя стояла, опершись о перила, и узенький луч света, пробивавшийся сквозь маскировку, светлой полоской лежал на ее волосах и спине.

– Вам не холодно? – спросил Николай.

– Нет, хорошо, – не поворачивая головы, сказала Валя.

Николай закурил.

– Вас оштрафуют, – сказала Валя.

– Не оштрафуют. Я осторожно. Как на фронте.

Они помолчали.

– Вы знаете, о чем я думаю? – сказала Валя.

– Нет, не знаю. Откуда мне знать?

– Ведь на фронт-то вы уже не попадете, Николай. А?

Она впервые назвала его Николаем, до сих пор она говорила всегда «Николай Иванович» или «товарищ капитан».

– Почему? – спросил Николай.

– Не знаю почему, но я так чувствую. А я никогда не обманываюсь, вы знаете? Никогда. Я знала, например, что не увижу отца, и знала, что увижу мать... Дайте мне потянуть, пока мать не глядит. – Она сделала несколько затяжек и закашлялась. – Отвыкла, голова уже кружится... А вам хочется на фронт?

– Хочется. А вам?

– И мне. Но вы уже не вернетесь, я знаю. А почему вам хочется?

– Странный вопрос!

Валя насмешливо улыбнулась.

– Чем же странный?

– Не надо, Валя. Ведь вы сами были солдатом.

Валя сорвала листок, и с винограда, шурша, посыпались капли.



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Простите. Я вовсе не хотела... Просто... Вот смотрю я на вас, и иногда мне кажется... Ведь вам здесь, у нас, в тылу, очень скучно, правда?

Николай ничего не ответил.

– У вас нет семьи? – спросила Валя.

– Нет.

– Ни отца, ни матери?

– Ни отца, ни матери. Еще перед войной умерли. Да и до этого отец с матерью... В общем, не очень сладкое детство.

Валя опять сорвала листок, и опять зашуршали капли.

– И больше у вас никого не было?

Внизу, откуда-то из-за угла, выехала машина и затормозила.

– Ну куда, куда ты заворачиваешь? – крикнул кто-то снизу. Голос был хриплый и недовольный. – Глаза, что ль, повывлазили?

– Как куда? По Красноармейской, – ответил другой голос.

– А кто тебя сейчас там пустит?

– Тогда по Горького. Здесь же проезда нет – стадион.

– Ну, валяй, – ответил первый голос, и машина тронулась.

Довольно долго был виден ее тусклый свет, потом она свернула на Горького и скрылась.

«...Горького... Горького... Горького, тридцать восемь... Кирпичный пятиэтажный дом, а перед ним вяз...»

Николай посмотрел на Валю. Она стояла рядом, облокотившись о перила, закрывши ладонями щеки, и смотрела на изредка вспыхивающие зарницы.

Николай придвинулся к ней, обнял ее за плечи и только сейчас, в темноте, увидел, что глаза у нее светятся, как у кошки, – маленькими красными огоньками...

– 12 –

Анне Пантелеймоновне удалось наконец уговорить Николая заняться английским языком. Как он ни мялся, как ни убеждал, что к языкам он не способен и что если уж заниматься, то потом, после фронта, ничего у него не получилось: пришлось-таки сесть за учебник.

Николай не ошибался: у него действительно не было способностей к языкам. Он никак не мог привыкнуть к тому, что в английском «а» читается как «э», а «е» – как «и», перочинный ножик упорно называл «кнайф», а артикль «the» произносил «тхе» или «зи», чем приводил в неистовство нетерпеливую, горячую Валю.

– Ты это нарочно, чтоб меня разозлить! Ну, пойми, ради бога, – она брала себя в руки и начинала сначала: – надо кончиком языка упираться не в небо, а в зубы, пусть он даже немножко высовывается. Вот так, видишь? Ну, теперь скажи.

– Зи, – говорил Николай.

– Ах, господи! Не упирай же его в нижние зубы. В верхние, ты понимаешь, в верхние! Ну, еще раз.

– Зи, – жалобно произносил Николай.

– Нет, это невозможно! Мать, я не могу с ним заниматься. Он нарочно меня дразнит.

И все-таки она терпеливо высидывала свой час, а когда он наконец, к удовольствию обоих, истекал, Валя, энергично захлопывая учебник английского языка для восьмых, девярых и десятых классов, говорила:

– В наказание иди разожги примус.

Николай покорно шел на кухню и разжигал примус.

После третьего или четвертого урока вид наказания был изменен.

– Сегодня за незнание глаголов проводишь меня в институт. У меня целая куча тетрадок, в портфель не влезают.

Проводы эти постепенно из наказания превратились в привычку. Обычно Валя опаздывала на свои лекции, поэтому приходилось бежать сломя голову, и прогулки эти напоминали скорее скачки с препятствиями. Чтоб не попадаться на глаза патрулям и вовремя поспеть в институт, они шли не по улицам, а напрямик, через проходные дворы и развалины.

Как-то Валя задержалась в институте, Анна Пантелеймоновна стала беспокоиться:

– На дворе уже темно, а я уверена, что эта девчонка для скорости через пустырь побежит. Солдат солдатом, а все-таки...

Николай пошел навстречу. Валя действительно шла через пустырь и провалилась в какую-то яму. Николай обнаружил ее сидящей на грудке битого кирпича и растирающей коленку.

– Матери только не говори. Придем домой – я живенько в ванной сделаю себе перевязку.

С тех пор, когда у Вали были вечерние занятия, Николай заходил за ней в институт и провожал до самого дома.

Каждый раз, когда он приходил, Валя говорила:

– Ну, что за глупости! Будут еще у тебя неприятности из-за этого в госпитале.

Николай ничего не отвечал, но на следующий день, если у Вали были вечерние часы, приходил опять.

Он полюбил эти прогулки. Полюбил потому, что кругом тихо, а над тобой – звезды, луна. Потому, что приятно идти вот так, по узкой тропинке среди полуразрушенных стен, напоминающих при лунном свете руины средневековых замков. Николаю они, правда, напоминали скорее Сталинград – средневековых замков он никогда не видел, но Валя говорила, что они похожи, и, чтоб не спорить, Николай соглашался. Полюбил он эти прогулки потому, что с Валею было легко и просто. С ней не надо было как-то по-особенному держаться, выдумывать темы для разговоров. Они сами находились. У них был общий язык – немного грубоватый фронтальной язык. Валею частенько за него доставалось от матери, но что поделаешь, обоим он был близок.

Иногда, если было не очень поздно и не надо было торопиться домой, они возвращались через Ботанический сад. После десяти ворота закрывали, и приходилось перелезать через забор. Валя обычно подсмеивалась над Николаем – «разведчик, физкультурник...» – и Николаю нечего было ответить. Рука ему мешала, и он действительно не очень ловко перебирался через решетку. Сад большой, почти лес, заросший кустарником, старыми дубами и кленами, с шуршащими под ногами листьями, папоротником по пояс. В нем было темно, немного сыро, и почему-то невольно хотелось говорить шепотом.

Как-то в этом самом саду их застала гроза – неожиданная для сентября, совсем майская гроза, с молнией, громом, потоками воды. Они спаслись в какой-то вырытой, очевидно детьми, на дне оврага пещере. Сидели рядом: Николай – на корточках, чтоб не запачкать свой госпитальный костюм, Валя – примостившись на своем портфеле, обхватив руками колени. Когда ударял гром, Валя закрывала лицо руками. Николай смеялся:

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Зенитчица, фронтовичка...

– Ну и зенитчица и фронтовичка, а грозы боюсь.

Николай улыбался в темноте.

– Напоминает бомбежку?

– Нет, не то... не бомбежку. А может, и бомбежку. Когда в лесу и ночью. Тоже вот так сидишь, и смотришь вверх, и ничего не видишь, и хочется, чтоб только скорее кончилось.

– Хочется?

– Хочется.

– И сейчас хочется, чтоб скорее?

Валя промолчала. Николай слегка придвинулся к ней, обнял рукой за плечи.

– Не надо... – сказала Валя и отодвинулась.

Опять ударил гром. Валя закрыла ладонями уши и уткнулась в колени. При свете молнии ее сжавшаяся в комочек фигура казалась детски беспомощной. Николай снял пижаму и накинул ее на Валю.

– Мне не холодно, – сказала она.

– Неправда, холодно.

Опять загрохотало. Но уже не над головой, а где-то левее. Гроза уходила.

– Ты будешь мне писать, когда я уйду на фронт? – спросил Николай.

– Я не умею писать, – сказала Валя.

– А разве надо уметь? Надо хотеть.

– И на фронт ты не уйдешь.

– Почему?

Валя пожала плечами. Высунула руку из-под пижамы ладонью кверху.

– Дождь, кажется, прошел. Можно идти.

– Нет. Еще идет. – Николай прикрыл ее ладонь своей. – Так будешь?

Валя сделала движение, чтоб встать. Николай удержал.

– Будешь? Скажи...

Она молчала.

– Почему ты молчишь?

Валя сжала руки в кулаки и уткнула в них лицо.

– Господи... Почему я ничего не понимаю? Почему?

Она повернулась к Николаю, посмотрела ему в лицо. И совсем вдруг тихо и просто сказала:

– Я не хочу, чтобы ты уходил, не хочу... Вот и все...

Николаю показалось, что у него вдруг остановилось сердце. Потом оно застучало, во всем теле застучало – в руках, в груди, в голове. Захотелось вдруг обнять Валю, всю целиком, с головы до ног.

Но вали уже не было. И портфельчика ее не было. И грозы не было.

Где-то вдалеке еще гремел гром, вспыхивали молнии. И небо было уже чистое.

– 13 –

Парадная дверь в отделение, как того и следовало ожидать, была закрыта. Николай, как обычно, обогнул корпус и, взобравшись на стоявшую под водосточной трубой бочку, подтянулся к окну. Оно открывалось легко и почти беззвучно. Несмотря на больную руку, Николай за последние дни так наловчился, что влезал в окно без всяких осложнений. Один только раз, зацепившись за гвоздь, слегка разодрал рукав на пижаме.

Сегодня ему не повезло. Только успел он бесшумно соскочить на пол и, стоя на цыпочках, стал закрывать верхнюю щеколду, как за спиной его послышались шаги. Николай обернулся. Прямо на него по коридору шел дежурный врач Лобанов. Лобанов был самый молодой, а потому и самый строгий врач в отделении. Все знали, что он ухаживает за хорошенькой, веселой блондиночкой Катюшей, сестрой со второго этажа, и свои дежурства всегда старается приурочить к дежурствам Катюши. Сегодня это, очевидно, ему не удалось, поэтому он был зол. К тому же в отделение только что привезли двух больных, чего он тоже не любил, и он с радостью выместил свою злобу на Николае.

– Завтра же доложу начальнику отделения. Безобразие какое! Капитан называется, офицер!..

Он стоял, расставив короткие толстые ноги, красный, возмущенный, а Николай весело улыбался и пожимал плечами.

– Что поделаешь, товарищ майор, бывает...

– Так вот, больше этого не будет. Понятно? Безобразие какое, в окна лазить! Завтра же доложу начальнику отделения... Извольте идти в свою палату.

Лобанов сдержал свое обещание. На следующее же утро он доложил обо всем случившемся подполковнику Рисуеву. Рисуев, мягкий, добрый, но бесхарактерный и больше всего боявшийся неприятностей, только развел руками и, чтобы снять с себя ответственность, обратился к Гоглидзе, главному хирургу и фактическому хозяину отделения.

– Что ж! После фронта и через трубу из госпиталя удерешь, – сказал Гоглидзе. – Понимаю, понимаю. Но окна все-таки придется замазать, – и взглянул на Николая. – А вам, молодой человек, делать у нас больше нечего. Рана зажила, а с нервом провозитесь еще порядком. Переведем-ка вас к Шевелю, в невропатологию. Не возражаете?

Но у Шевеля не оказалось свободных мест, и в один прекрасный вечер Николай, вытащив из-под кровати спортивный чемоданчик, стал складывать в него свое имущество: два носовых платка, бритвенный прибор и маленькие трофейные ножнички для ногтей.

– Куда же это вы, Митясов? – удивился Зилеранский.

– На волю, товарищ полковник. Залезался.

– То есть как это на волю? – Полковник собрал лоб в морщины. – А рука? А пальцы?

– И руки и пальцы – все будет в порядке. Заживе, як на собаці.

– Простите, но я все-таки не понимаю. Как же все-таки...

– А очень просто. Это называется лечиться амбулаторным способом. Буду приходиться каждый день на лечение.

– А жить?

– Найдется где. Мир не без добрых людей. Давайте-ка ваш стаканчик для бритья...

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
В самый разгар прощального торжества, когда покрасневший и несколько уже возбужденный полковник Зилеранский провозглашал какой-то тост о дружбе, рожденной в госпитальных стенах, появился Лобанов.

– Кабак устраиваете, да? – произнес он, не повышая голоса, но достаточно громко, чтобы было слышно в коридоре.

Стоявшая за его спиной дежурная сестра глазами показала Николаю, чтобы он убрал стоявшую на тумбочке бутылку.

– Кабак в госпитале устраиваете, – не находя других слов, повторил Лобанов, уставившись маленькими глазами на Николая. – Сначала цирк, а теперь кабак? Немедленно прекратить!

Маленький, в халате не по росту, с завернутыми рукавами, он стоял в дверях, расставив, по обыкновению, свои коротенькие ножки, и чего-то ждал. Николаю стало вдруг смешно.

– Слушайте, товарищ майор, – сказал он, вставая с кровати и протягивая Лобанову свой стаканчик. – Зачем сердиться? Выпьем-ка лучше по «маленькой».

Дежурная сестра не выдержала и прыснула в рукав. Это окончательно вывело Лобанова из себя.

– Ладно, – сказал он. – Завтра поговорим! – И, круто повернувшись, вышел.

– Интересно, где? – подмигнул своему соседу Николай. – Очевидно, опять с Катюшей не получилось. Ну, да ладно.. Не мне на него сердиться. Не будь его, черт его знает сколько бы еще проторчал здесь. За его здоровье, чтоб веселее ему на свете жилось!

Через полчаса в своем старом, измятом от дезинфекции обмундировании он уже весело сбегал по знакомой дорожке к стадиону.

Сначала Николай думал обосноваться у Сергея, но шестнадцатая квартира, узнав об этом, энергично запротестовала. Николай был тронут. Несмотря на тесноту и общую неблагоустроенность, каждый предлагал угол у себя. Ковровы, Яшка и Валерьян Сергеевич долго спорили, пытаясь доказать, что именно у них Николаю будет лучше всего.

– Ну, где ты у Ковровых поместишься? – возмущался Яшка, таща Николая за рукав. – На верстаке, что ли? Четыре человека на шестнадцати метрах – с ума спятить!

– Зачем на верстаке? – Никита Матвеевич вытягивал из-под кровати какие-то доски. – Через два часа и козлы готовы. И не шестнадцать у нас, а восемнадцать.

– Ну, восемнадцать, не все ли равно? А я один в десяти.

– Один? Вы слышите? – Старик весело подмигивал, потирая лысину. – Он, оказывается, один живет.

Валерьян Сергеевич отводил Николая в сторону и, доверительно понизив голос, говорил ему:

– О чем тут спорить? Даже младенцу ясно, что если выбирать между тремя людьми на восемнадцати и...

– И пятью кошками на двенадцати, – перебивал Яшка, – да ты просто задохнешься там!

Николай только смеялся, а вечером, несмотря на мрачные Яшкины пророчества, въехал со всем своим багажом на двенадцатиметровую Валерьян Сергеевичеву жилплощадь и стал седьмым ее жильцом.

Так началось мирное квартирное житье-бытье Николая.

На первых порах все шло хорошо. Вставал рано, на кухне завтракал (Острогорские в это время еще спали), потом отправлялся в госпиталь на свои процедуры. Часам к

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
двенадцати возвращался.

Отвыкший за последние годы от полезной и созидательной, как говорил Валерьян Сергеевич, деятельности, Николай с азартом принялся за работу. Начал с крыши. О ней давно уже все говорили, но как-то при всеобщей занятости ни у кого до нее руки не дотягивались. Насквозь проржавевшая и побитая осколками, она не спасала ни от какого самого ничтожного дождя. Как только дождь начинался, все бросались на чердак и лихорадочно подставляли под струи старые корыта, тазы и банки от свиной тушенки. Яшка достал три рулона толя, и Николай с Петей растянули его с грехом пополам над самыми аварийными местами. Там, где не хватало толя, заткнули дырки тряпками и замазали суриком.

Потом Николай принялся за комнату Валерьяна Сергеевича, несмотря на отчаянное сопротивление хозяина. Это было, пожалуй, труднее, чем крыша. Комната утопала в ворохе газет, пустых консервных банок, бутылок, каких-то никому не нужных брошюр, старого белья и разбросанных по всей комнате одиноких носков.

Николай действовал решительно и энергично:

– Газеты собрать в кучу и на кухню – для общего пользования! Кефирную тару сдать! Носки – в печку!

С боем, шаг за шагом, завоевывал Николай новые позиции, а Валерьян Сергеевич, мечась по комнате, цепляясь халатом за все гвоздики и опрокидывая кошачьи блюдечки с молоком, грудью защищал каждый сантиметр своей комнаты. Но силы были неравные – он сдался. Пол и окна были вымыты, носки сожжены, банки и бутылки доведены до самого необходимого минимума.

И случилось чудо: Валерьян Сергеевич, вначале проклинавший тот день и час, когда появился Николай, на второй день после окончания боев, сидя на своей койке и с удивлением озираясь по сторонам, вдруг сказал:

– А вы знаете, как будто даже лучше стало. Честное слово! А? – И в знак высокой оценки проделанной Николаем работы угостил его своим спирающим дух, дерущим глотку табаком.

Такую же чистку Николай попытался организовать и у Острогорских, но здесь запротестовала Анна Пантелеймоновна. «Это дело подождет до весны», – заявила она и разрешила Николаю только подремонтировать книжные полки. Николай принялся за полки со всем рвением, но подвигался вперед очень медленно: он рассматривал почти каждую книгу, а их были тысячи.

Он хватал все – Брема, Энциклопедический словарь, «Всемирный следопыт», пудовые комплекты старой «Нивы». Как ребенок, с увлечением рассматривал он картинки и фотографии прошлой войны.

Валя, сдерживая улыбку, поглядывала то на него, то на мать. Она прекрасно понимала, что вся эта канитель с полками затеяна матерью главным образом для того, чтобы приблизить Николая к книгам. И Николая уже нельзя было оторвать от них.

– Вы только посмотрите, из каких пушек шпарили немцы по Парижу в четырнадцатом году. Нет, вы только гляньте, Анна Пантелеймоновна! За сто двадцать километров! Бред. А после трех-четырёх выстрелов выходила из строя.

Анна Пантелеймоновна подсаживалась к Николаю и вместе с ним рассматривала фотографию знаменитой «Большой Берты». Валя, сидевшая над своими тетрадками, пыталась прекратить эти мешающие ей разговоры, но в этот самый момент Анна Пантелеймоновна находила вдруг пропавшую папку с зарисовками ее покойного мужа, и тогда уже все трое, усевшись на полу, начинали рассматривать эти рисунки, и суп на печурке выкипал, а книги до вечера так и оставались неубранными.

– 14 –

Но всему приходит конец. Настало время, когда все возможное оказалось сделанным: полки отремонтированы, книги расставлены, окна вымыты и замазаны на зиму, дымоходы прочищены – Николай добился все-таки и этого, – а стол и четыре колченогих стула, с помощью Никиты Матвеевича, починены и даже отлакированы. Делать больше было нечего. Да и вообще, откровенно говоря, вся эта

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
ремонтно-квартирная возня в конце концов тоже приелась.

Чем заняться? Куда себя деть?

Возвращаясь из госпиталя, Николай застал пустой дом. Кроме спящего после дежурства Валерьяна Сергеевича и Блейбманов, вечно занятых своими плакатами и обложками, никого не было.

Заглянет к Блейбманам, посидит там с полчаса (дольше не получалось: Бэлочка не переносила мажорного дыма, да и вообще у них было скучно), потом завернет к Ковровым – не вернулся ли Петя из школы? – и, так как обычно его не было (возвращался он только к четверем), сидел с Марфой Даниловной, пришедшей только что с базара, и выслушивал ее рассказы о том, что где дают и как трудно на какие-нибудь тысячи полторы прокормить семью из трех человек. Потом начинался разговор о Дмитрие, о том, почему он так редко пишет. Николай успокаивал, доказывал, что на фронте во время затишья как раз и не хватает времени: всякие там занятия, проверки, инспекции, –дохнуть некогда.

Марфа Даниловна только качала головой.

– Все это мы знаем, Коля, но какое ж там затишье? Газет вы не читаете. Вот пишут, опять они из Румынии какую-то границу перешли, опять сколько-то там населенных пунктов захватили. Никакого там затишья нет. – И вздыхала: – Господи, когда ж этому конец будет!

Потом приходил Петя, но, как назло, оказывалось, что завтра у него какая-нибудь контрольная и надо готовиться, и Николай от нечего делать плелся к Острогорским и в десятый раз рассматривал надоевшую уже «Ниву» за 1914 год.

К тому же и с Валею вдруг разладилось. Разладилось после того, как он однажды подбил Яшку (это было не очень трудно) пойти к Сергею. Сергея они, правда, не застали, но зашли в какое-то другое место и вернулись домой в четвертом часу ночи.

Дверь открыла им Валя. С места в карьер набросилась:

– Вы что, с ума сошли? Мать до сих пор заснуть не может. Сказали – до двенадцати, а сейчас...

Николай с Яшкой стали весело оправдываться, но Валя не пожелала разговаривать и хлопнула дверью перед самым их носом.

На следующий день, когда Николай, как обычно, зашел за ней в институт, Валя сказала ему, что сейчас она не может идти и что вообще ему беспокоиться нечего: преподаватель марксизма-ленинизма живет в соседнем доме, она пойдет с ним.

Николай обиделся. Ну и черт с ними со всеми! Через неделю комиссия, выпишет наконец и отправят на фронт. Хватит. Повалился на диване, попил чайку с вареньем – и хватит. Пора и честь знать...

Но мечтам этим не суждено было сбыться. Через неделю Николая действительно вызвали на медкомиссию. Шестеро врачей специальной электрической машинкой проверили работоспособность его пальцев на правой руке, покачали головами и на выписке из истории болезни поставили штамп: «К военной службе не годен. Подлежит переосвидетельствованию через шесть месяцев».

Николай понял – фактически это была демобилизация. Ему выдали два аттестата, вещевой и продовольственный, справку о том, что с такого-то по такое-то капитан Митясов находился на излечении в таком-то госпитале, и велели 15 апреля будущего года явиться в военкомат на комиссию.

Николай сунул бумажки в карман и, не заходя в отделение, медленно стал спускаться по знакомой дорожке. У входа на стадион он остановился, посмотрел в ту сторону, где было фимкино заведение, подумал, не зайти ли, но не зашел, а пошел домой.

Дома никого не было: Острогорские еще не вернулись, Валерьян Сергеевич был на дежурстве, Ковровы куда-то ушли. Николай заглянул в Яшкину каморку. Яшка спал на

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
животе, раскинув ноги и засунув голову под подушку.

Николаю хотелось говорить. Он сделал последнюю попытку – постучался к Муне. Нагнувшись над столом, Муня дорисовывал ноги очередного красноармейца.

– Я вам не помешал? – спросил Николай.

– Нет, что вы, что вы.. Пожалуйста.

Муня поднял голову и, как обычно, приветливо улыбнулся.

Было совершенно ясно, что Николай ему помешал.

– Работаете? – спросил Николай.

– Работаю.

– И как всегда, завтра утром сдавать?

– Завтра утром.

– Жаль, а то бы.. – Николай огляделся по сторонам. – Бэлочки нет, мы бы с вами.. Впрочем, вам нельзя, вам завтра сдавать.

– Да, завтра сдавать, – Муня почесал линейкой затылок. – Такие сроки, такие сроки, просто ужас!

Николай сел на кровать – более подходящей мебели не было.

– А я вот только что с комиссии вернулся.

– С комиссии? Ну-ну, и что же?

– Шесть месяцев дали.

– Поздравляю. Чудесно! – Муня сделал какое-то движение – очевидно, хотел пожать Николаю руку, но тот удивленно на него посмотрел.

– Что ж тут чудесного?

Муня, как всегда, смутился, боясь, что сказал какую-то бестактность.

– Как что? Отдохнете, поправитесь, ну и вообще..

– Муня, дорогой, простите, но вы ничего не понимаете. Это только называется шесть месяцев, а на самом деле.. – Николай хлопнул себя по плечу. – Посыпай погоны нафталином – и в комод.

– Ах, так.. Ну, тогда, конечно..

– Что – конечно?

– Ну.. – Муня стал опять чесать линейкой свою голову. – Я понял вас так, что вам не хочется демобилизовываться?

Николай встал.

– Слушайте, плюньте на свой плакат, давайте выпьем.

Муня зачем-то посмотрел на часы.

– Ну чего вы на часы смотрите? У меня сегодня такой день чертов, а вы.. У вас есть деньги?

Муня торопливо стал искать в карманах, потом заглянул в какую-то книгу, коробочку на окне. Общими усилиями наскребли рублей двадцать. Николай вздохнул.

– Плохо дело.



– А может, Яшка? – робко сказал Муня.

Николай весело рассмеялся.

– Муня, вы определенно подаете надежды.

Яшка сначала недовольно что-то бурчал из-под своей подушки, но потом, узнав в чем дело, мигом натянул сапоги, хлопнул дверью, а через десять минут явился с бутылкой.

Муня скоро увял, а Николай с Яшкой завели спор.

Собственно говоря, это был даже не спор, – просто обоим хотелось говорить и не хотелось слушать. Поминутно друг друга перебивая, они упорно возвращались каждый к своему. Яшке, как и всегда, когда он выпьет, начинало казаться, что все недооценивают его службу в армии (до конца прошлого года он был шофером – сначала в дивизии, потом в армии и, наконец, в штабе фронта, откуда его демобилизовали, как бывшего железнодорожника). Работа шофера, по его словам, была наиболее ответственна и опасна, и он весьма энергично доказывал это, приводя бесчисленное количество примеров. Николай соглашался, но довольно вяло. Ему самому хотелось говорить – о сегодняшней комиссии, о какой-то несправедливости, о том, что вот он три года провоевал, а теперь, когда Берлин уже не за горами, приходится – ему очень понравилось это выражение, и он несколько раз его повторил – посыпать погоны нафталином и прятать их в комод.

– В сорок первом, когда меня в первый раз ранило, – Николай расстегивал рубашку и показывал какие-то рубцы на плече, – черта с два, не демобилизовали. Тогда люди нужны были. А теперь? Теперь, я тебя спрашиваю? Уже не нужны? Как Берлин брать – так спасибо, товарищ, можете отдохнуть. А если я не хочу? А? Не хочу еще отдыхать?..

Яшка ждал только паузы.

– Ты говоришь – ты. А я? Вот вы все думаете, что шофер на войне – это просто так, задницу на мягоньком отсиживали. Говорить легко. А ты вот сядь за баранку, сядь! Интересно, что ты запоешь.

– Да я ж ничего...

– Постой, постой, не перебивай! Ну, не ты, так другие... которые языками мелют. Посадил бы я их всех на «зиса» и спросил бы. А кто связь с Ленинградом по льду поддерживал? А? Кто с «катюшами» по всему фронту мотался? А? Молчат, сукины сыны. Так какого же дьявола они мне голову морочат?

Кого Яшка подразумевал, когда говорил «они», было не совсем ясно, но, так или иначе, на «их» голову сыпались проклятия, а роль Яшки в разгроме гитлеровских полчищ принимала поистине грандиозные размеры.

Оба доказывали свою правоту с таким азартом и так громогласно, что не заметили, как приоткрылась дверь и в щель просунулась Валина голова.

– Слушайте, товарищи: ведь вас на лестнице даже слышно.

Яшка стукнул кулаком по столу.

– Валя! Молодчина. Старший сержант! К нам!

Валя сморщила нос:

– Не пью.

– А если попросим? – Яшка попытался придать своему лицу трогательно-просительное выражение.

Валя не выдержала и рассмеялась.

– Ладно. Переоденусь только. На дворе такой дождь, до нитки промокла, – и

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
убежала.

Яшка подмигнул.

– Бабец что надо, а?

Николай ничего не ответил.

– Чего жмешься? Взял бы и женился. Ей-богу, пара. Фронтвичка, своя в доску.

– Чего ж ты не женишься? Взял бы и женился.

– Я? Я совсем другое дело. Во-первых, она на меня даже и не смотрит. А потом, куда мне торопиться? Мне и так хорошо.

– Ну и мне хорошо.

– Врешь!

– Почему вру?

– Потому что врешь. Думаешь, я не вижу? У Яшки глаз дай боже. Женись, не пожалеешь. Она и варить, и стирать...

Окончить ему не удалось. Заснувший Муня вдруг с грохотом свалился со стула. Лежа на полу, испуганно моргал глазами. Яшка ловко его подхватил и уложил на кровать.

– Бывает. Спи, Муня. Мы Бэлочке ничего не расскажем.

Муня свернулся комочком и, подложив по-детски руки под щеку, моментально заснул.

Вошла Валя. На ней было синее, с какими-то складками на груди и белым воротничком платье. Оно ей не шло, было узко в груди, и по всему видно было, что она чувствует себя в нем неловко.

Яшка с Николаем, привыкшие видеть ее всегда в гимнастерке или лыжной курточке, тоже слегка опешили.

– Вот это да! – Яшка даже сощурился, будто не мог выдержать такого ослепительного зрелища.

Потом он повторил все то, что говорил Николаю, о роли шоферов на войне, и начал было рассказывать какой-то фронтвой эпизод, в котором шофер спас чуть ли не целую дивизию, но в середине рассказа вдруг спохватился, сказал, что ему куда-то еще надо, и, выходя, весьма выразительно подмигнул Николаю.

После Яшкиного ухода несколько минут молчали. Валя старательно смывала какое-то пятно на клеенке.

Первым заговорил Николай:

– Ну так как же? Сменила наконец гнев на милость?

Валя, до сих пор делавшая вид, что разговаривает главным образом с Яшкой, подняла голову.

– Просто интересуюсь, чем у тебя комиссия кончилась.

– И только?

– И только.

– И в институт за тобой по-прежнему не заходить?

– Там видно будет. – Она чуть-чуть, краешком губ, улыбнулась и посмотрела на Николая. – Ты был на комиссии?

– Был. – Николай указал на пустую бутылку. – Потому и пьем.

– Что сказали?

– Нафталин есть?

– Какой нафталин?

– Погоны посыпать – и в комод. Понятно? – Николай встал и прошелся по комнате. – Нет больше капитана Митясова. Есть гражданин Митясов Н.И. – Он искусственно рассмеялся. – Отвоевался, голубчик. Разведчик в отставке. Квартирант на продавленном диване.

Валя помолчала, потом сказала:

– Ну что ж, я очень рада.

– Чему?

– Тому, что нет больше капитана Митясова.

– Ты это серьезно?

– Абсолютно.

Николай остановился.

– Чепуха! Ты говоришь чепуху. – Он даже покраснел. – Понимаешь, чепуху!

Валя ничего не ответила. Николай прошелся по комнате, постоял над плакатом, который Муне так и не суждено было сегодня докончить, – солдат с открытым ртом указывал на что-то еще не нарисованное, – потом зло, раздраженно заговорил опять о трех годах войны, о Берлине, о своем первом ранении, о том, что теперь он никому не нужен. Валя слушала молча, с таким видом, с каким слушают давно известные вещи. Николай сел рядом с ней на кровать.

– Ну, чего ты молчишь?

– А о чем мне говорить? Я уже сказала. И Муня вот спит. Мы его разбудим.

– Ну и черт с ним, с Муней! Ему завтра работу сдавать. Нечего ему спать. Вставай, Муня!

Николай повернулся на кровати и хлопнул Муню между лопаток. Муня даже не шелохнулся, только почмокал губами. Валя поднялась. Николай схватил ее за руку.

– Куда?

Валя спокойно высвободила руку.

– Чай ставить. Скоро мама придет.

– Ну, погоди! Куда ты торопишься? – Он опять взял ее за руку и, потянув, посадил на кровать. – Ну, я выпил немножко. Что ж тут такого? Ну, выпил, и говорить хочется, а ты... Неужели ты не понимаешь?

– Понимаю. Только давай в другой раз, не сейчас.

– Ладно, – сухо сказал Николай и сделал движение, чтобы встать. Но не встал, а взял лежавшую на столе Валину руку и поцеловал ее. Валя на этот раз не выдернула руку.

– Ох, Николай, Николай. Почему все мужчины такие глупые? Ужасно глупые, ей-богу! Думаешь, я не поняла, что означало твое «ладно».

– Ну?

– Ладно. Не хотите меня слушать, буду тогда действовать. Пойду завтра в военкомат и подам заявление, чтобы на фронт послали. А не разрешат – плюну на

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
все, сяду на поезд и поеду в свою часть. Там меня всегда примут. Угадала?

Николай дунул Вале в лицо и рассмеялся.

– А что, не примут, скажешь?

– Конечно, примут. Я ж и говорила. – Валя встала. – Пошли примус разведем. Придет мать, достанется нам.

Они вышли в кухню. Валя сняла с полки примус и налила в него бензин. Николай сел на подоконник, закурил.

– У тебя есть спички? – спросила Валя.

Николай молча подал коробку. Валя зажгла примус и, прищурившись, смотрела на тихое голубое пламя.

– А в общем, все мы одинаковые, – сказала она, оторвавшись наконец от пламени. – Думаешь, я не бегала в военкомат, не подавала рапорты? А у меня ведь мать. И я ее почти три года не видела. А вот бегала...

Пламя стало гаснуть. Валя покачала примус и поставила на него большой жестяной чайник. Николай, сидя на подоконнике, смотрел на нее, на ее быстрые, ловкие движения, на стройную фигуру с немного слишком широкими плечами и невольно улыбнулся, вспомнив Яшкино – «фронтвичка, своя в доску».

Валя подошла к окну, вытирая руки полотенцем. На дворе шел дождь, противный, серый, осенний дождь. У самого окна проходила сломанная водосточная труба, и струя воды с шумом била о карниз.

– Да. Странно все это... – сказала Валя.

– Что это?

– Да все... – Валя пальцем нарисовала какую-то фигуру на запотевшем окне, потом стерла. – А ведь на фронт-то тебе хочется не только потому, что тебе воевать хочется. Я говорю – не только, понимаешь?

– Нет, не понимаю.

– Тебе в тыл не хочется. Вот в чем вся заковыка.

Николай посмотрел в окно, на мокрые крыши и тротуары, на перебежавшего улицу человека в коротеньком пальто с поднятым воротником.

– Да... – неопределенно сказал он и с силой раздавил остаток сигарки о подоконник. В коридоре хлопнула дверь. Вернулась Анна Пантелеймоновна.

За чаем все молчали. Анна Пантелеймоновна после долгого, утомительного собрания пришла усталая, бледная. Разговор не клеился. Николай, против обыкновения, выпил только один стакан чаю и пошел спать, хотя не было и десяти часов.

Валерьян Сергеевич был на дежурстве. Не зажигая света, Николай вытянулся на диване и натянул на себя шинель. В углу, в ящике из-под консервированного молока, на остатках старого стеганого одеяла, копошились родившиеся сегодня утром котятка, и старая серая Грильда о чем-то тихо и ласково с ними разговаривала.

Николай лежал на спине, глядел в черный потолок и думал о том, почему так глупо устроен мир, почему человек, имеющий возможность спать под железной крышей после трех лет бездомной солдатской жизни, не только не радуется этому, а, наоборот, хочет вернуться туда, где, как о чем-то несбыточном, мечтаешь о сне, а спать нельзя.

И, может быть, только сейчас, лежа на этом продавленном диване и глядя в потолок, он впервые понял и ощутил то, о чем говорила сегодня Валя. Да, он отвык от мирной жизни. Он привык к фронту, привык к людям, к своим обязанностям, своему положению. Фронт стал его домом. Больше домом, чем эта комната с четырьмя

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru стенами, потолком, пролежанным диваном. Там, на фронте, он был своим, там он знал, что делать, здесь, даже здесь, где к нему все так хорошо относятся, – нет.

Кому нужно теперь его умение бесшумно подползти к немецкому часовому и снять его с поста, мастерить из набитых соломой плащ-палаток плотики, выкручивать взрыватели из мин, ходить по сорок – пятьдесят километров, не натирая ног, умение сплотить различных, не похожих друг на друга людей в маленькую семью разведчиков, веселых, озорных, часто, может быть, и грубых, но всегда готовых так же весело и бодро выполнить любую самую сложную задачу. Кому теперь все это нужно?

Ну хорошо, завтра или послезавтра он сдаст свое офицерское удостоверение с фотокарточкой, где он еще с усами и с бачками, потом пойдет в милицию, получит паспорт, а потом... Что же потом?

Старая Грильда вылезла из своего ящика, подошла к Николаю и тихо мяукнула. Николай понял. Встал, налил в блюдечко молока, купленного сегодня специально для нее, как для кормящей матери. Сел рядом на корточки.

Как-то в Сталинграде к ним в блиндаж бог весть откуда забрела кошка. Худущая, кожа да кости. Бойцы весь вечер провозились с ней. Накормили, сделали ей возле печки гнездышко из старых телогреек, прикрыли суконной портянкой. Прожила она на передовой что-то около месяца. Поправилась, похорошела, бегала, задравши хвост, по окопам, когда было затишье. Потом ее ранило осколком. За ней ухаживали, но через три дня она умерла. Бойцы выкопали ямку и похоронили ее.

Милое, уютное, домашнее... Как его не хватало на фронте! Как часто о нем говорили, вспоминали, сидя на корточках вокруг раскаленной печурки в тесной накуренной землянке! Как радовались сталинградцы, услышав в одно ясное февральское утро крик петуха! Его везли на подводе, он хлопал крыльями и кукарекал – красивый, черный, возвращавшийся из эвакуации петух.

Милое, уютное, домашнее...

С сегодняшнего дня Николай тоже мирный человек. Скоро он получит паспорт. И будет здесь жить и где-то работать, а по вечерам сидеть за столом, пить чай, разговаривать. И придет Валерьян Сергеевич со своим вонючим табаком и начнет о чем-то спорить с Валею. А Валя будет что-то доказывать, а Валерьян Сергеевич опровергать. А Муня сидеть на том вот конце стола, с измазанным краской носом, и молча помешивать ложкой свой чай. А потом встанет, посмотрит на свою Бэлочку и скажет: «Ну что ж, нам пора...»

И так будет каждый день. Каждый день.

В коридоре послышался веселый Яшкин голос. Николай слышал, как Яшка о чем-то оживленно говорил со «старухой» Ковровой, потом прошел к Острогорским, вернулся, постучал к нему в комнату и сказал: «Алло, старик, ты спишь?» – и еще два или три раза повторил это. Но Николай, закрыв зачем-то в темноте глаза, сделал вид, что спит, и даже немного всхрапнул. Вскоре он на самом деле заснул.

– 15 –

Так началась новая полоса в жизни Николая.

Началась с беготни по учреждениям. В военкомате надо было стать на учет, получить пенсионную книжку, в милиции сдать какие-то анкеты и фотографии для оформления паспорта, получить продуктовые карточки. Везде были очереди, и надо было кого-то дожидаться, или не хватало какой-то справки, или надо было ее заверить у нотариуса, а там тоже была очередь, или опять надо было кого-то дожидаться, – одним словом, Николай столкнулся с той жизнью, тяжелой, непонятной ему и часто раздражающей жизнью тылового города, о которой он в армии как-то даже не задумывался.

Он, правда, знал, что гражданскому населению во время войны нелегко и что за килограммом крупы или макарон надо несколько часов простоять в очереди. Знал, что существует слово «отоваривать» (оно его очень сместило), что есть «стандартная справка», без которой не давали карточек на следующий месяц. Знал, что стакан махорки на базаре стоит десять рублей, а литр керосина шестьдесят – семьдесят, а то и восемьдесят рублей, и что поэтому нельзя пользоваться лампами,

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru а приходится довольствоваться копилками; знал, что выгоднее всего сейчас торговать пивом и газированной водой, что девяносто девять процентов судебных заседаний посвящены квартирным конфликтам – население города увеличивалось с каждым днем, а город был разрушен и квартир не хватало, – что для многих ордена, которые они честно заработали на фронте, и нашивки о ранении превратились в средство без очереди проходить к начальству, стучать там кулаком по столу и требовать различных законных и незаконных льгот и выдач.

Все это Николай знал, и на фронте, и особенно в госпитале, об этом говорили достаточно. Сейчас он с этим столкнулся лицом к лицу. И так же, как человек, впервые попавший на фронт, хотя и много слышавший о нем, долго не может привыкнуть со всем происходящим вокруг него, так и Николай, очутившийся в этом большом, удаленном на сотни километров от фронта городе, именуемом коротким словом – тыл, никак не мог к этому тылу привыкнуть.

– Ну что это такое в конце концов, – возмущался он, вернувшись домой злой и усталый после целого дня стояния в очереди, – куда ни ткнись, всюду хвосты, везде все с бою добывай. Паршивую справку получить, и то до хрипоты кричать надо. Бред собачий!

Слушатели только переглядывались.

– С непривычки, Николай Иванович. Скоро привыкнете. Сами рассказывали, как спят у вас солдаты под любой бомбежкой и обстрелами, ничем не разбудишь.

– Так то фронт...

– А то тыл...

И опять переглядывались.

Николай только удивлялся. Странные они люди... Он не понимал, что для этих странных людей, перенесших три года войны кто в оккупации, как Анна Пантелеймоновна, а кто, как Ковровы, в далеком холодном и жарком Казахстане, нынешний 1944 год – здесь дома, за каменными стенами, с дровами на кухне – казался если не сказкой, то, во всяком случае, чем-то очень и очень неплохим. Одно уже то, что жили они в своем родном, пусть разрушенном, искалеченном, но избавленном от оккупантов городе, помогало переносить любые, связанные с войной лишения.

Год тому назад Анна Пантелеймоновна жила в этой самой заваленной книгами, пустой, без Вали, комнате, одна-одинешенька, никому во всем городе не нужная, потерявшая мужа, лишившаяся работы, друзей. Почти все ее знакомые и друзья эвакуировались. Остался только один, бывший сослуживец ее мужа. До войны он довольно часто приходил. При немцах он тоже как-то зашел, чистенький, выбритый, пахнувший одеколоном. Принес какие-то продукты, селедку. Анна Пантелеймоновна его выгнала. Он работал на немцев. Для Анны Пантелеймоновны этого было достаточно – такие люди для нее не существовали. И вот она осталась совсем одна. Сидела на базаре перед двумя стопками никому не нужных книг, стараясь не видеть ненавистных ей, чужих людей в серо-зеленых шинелях, и считала праздником тот день, когда за полупудовый географический атлас в тисненном золотом переплете получала стакан пшена или когда отогрели водопроводную колонку возле стадиона и можно было уже не таскать воду за четыре квартала, с Жиланской улицы.

И вот все это уже позади. По-прежнему работа, по-прежнему рядом Валя, и все чаще слышишь, что такой-то вот вернулся с фронта, пусть даже раненный, но голова все-таки на плечах, и скоро, говорят, выпишут уже из госпиталя. Правда, бывало и другое. У Сушкевичей погибли оба сына – Анна Пантелеймоновна хорошо их помнит, как они, всегда опаздывая в школу, скатывались по лестнице, сбивая прохожих. Саша и Котик – два близнеца. А Крыловы, такие славные старичок и старушка из четырнадцатой квартиры, вчера только получили похоронную откуда-то из Польши. А ведь на прошлой еще неделе старушка Крылова остановила Анну Пантелеймоновну на лестнице и долго рылась в своей сумке, чтоб показать карточку своего внука. «Красивый какой стал, а? Совсем мужчина». А бедная Марфа Даниловна? Как только постучит почтальонша клавя (она уже знает ее стук), сразу меняется в лице: «Пойди, Петя, открой», – сама боится, вдруг по курносому личику Клавя все поймет. А потом, когда письмо оказывается от Мити (все те же «воюем помаленьку»), угощает клавю чаем и без конца спрашивает о Ване, Клавином

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru кавалере, который где-то там на фронте, у черта в зубах, в Баренцевом море...

Бог ты мой, бог ты мой!.. Четвертый год пошел, подумать только – четвертый год!.. И четвертый год только и слышишь; убили, разрушили, уничтожили, потопили, взорвали... В газетах, по радио, на улицах, везде...

И Анна Пантелеймоновна не на шутку сердилась, когда Николай начинал сравнивать фронтовую жизнь с тыловой, отдавая иногда предпочтение фронту.

– Замолчите! Слышать не хочу! Как можно такое говорить? Дурно или хорошо у нас здесь, но люди все-таки ходят по улицам во весь рост и не боятся, что их убьют. Очереди надоели? Без работы скучно? Так ищите работу, а не расхваливайте мне войну. И не поддерживай его, Валя, пожалуйста... Пусть работает. Или учится. Вот что вам надо. Учиться вам надо.

Николай почесал затылок.

– Вот получу на днях паспорт, и тогда...

А что «тогда», Николай и сам толком не знал.

Выхода было два. Вернее – три. Но третий, хотя он был, пожалуй, самым легким и выгодным, Николай в конце концов отбрасывал.

Первый выход – закончив все свои дела, отправиться в райком и сказать там: «Вот я такой-то и такой-то, вернулся с фронта, специальности не имею – назначайте куда хотите, вам виднее». Это был выход самый простой.

Второй – тот самый, на котором настаивала Анна Пантелеймоновна – пойти учиться. Поступить в какой-нибудь техникум или институт, любой – строительный, индустриальный, горный, и, помучившись над книгой столько-то там лет, получить специальность. Этот вариант был сложнее: за время войны Николай перебыл все то небольшое, чему когда-то учился, и, откровенно говоря, без особого восторга думал о парте и книге. Но с точки зрения здравого смысла, как говорил Валерьян Сергеевич, этот выход был наиболее правилен: раньше или позже, специальность получить надо было.

Но первый вариант пугал неясностью перспективы, второй – относительно далекой перспективой, и оба, чего греха таить, – скудостью заработка. На первых порах, правда, была пенсия, но рука заживает, и пенсию снимут, – сиди тогда на стипендии или каких-нибудь четырехстах – пятистах рублях.

И вот тут-то всплывал третий, самый соблазнительный вариант, автором которого был дьявол-искуситель в лице Яшки.

Яшка был человеком дела. Он не любил разговоров впустую, которыми занимались, на его взгляд, остальные жильцы квартиры. Все разговоры об учении он называл разговорами «до лампочки» и ни одной минуты не сомневался, что в первых же экзаменах Николай «засыплется». В то, что райком сможет найти для Николая хорошую работу, он тоже не верил.

– Это не для тебя, брат. Физическим трудом заниматься ты пока не можешь, вот и предложат тебе что-нибудь бумажное.

А это по нынешним временам Яшка считал самым неподходящим.

– Это тебе не фронт – винтовку в руки и «ура, вперед!» Тут на таких можешь нарваться – раз-два! – обведут вокруг пальца. Пикнуть не успеешь, и будьте любезны – ты меня видишь, я тебя нет! – Яшка четырем пальцами изображал решетку. – Нужно это тебе?

Нет, Яшкин план был прост и ясен. Время сейчас нелегкое, Николаю надо содержать семью (крутись, не крутись, все равно женишься на Вале). А кто больше всех сейчас зарабатывает? Конечно, шофер. Значит, надо становиться шофером.

– За две недели я из тебя такого водителя сделаю – закачаешься. Что пальцы плохо работают – это ерунда, важен локоть, плечо и вот это вот место, – Яшка показывал на свое широкое костистое запястье, не зная, как его назвать. – Права получишь в

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru два счета. На работу устрою к нам в гараж, в субботу как раз новые машины получаем, – одним словом, заживем мы с тобой, Николай Иванович, ты даже не представляешь, что это за жизнь будет.

Яшка хлопал себя по коленке и прищелкивал языком.

– Скажи, что Яшка неумный. А? В этих вопросах я всех твоих Валерьянов за пояс заткну. Согласен?

Николай смотрел в окно и рассеянно отвечал:

– Согласен.

– А раз согласен, завтра же и начнем.

– Нет, завтра я еще не могу.

– Тогда послезавтра.

– И послезавтра не смогу – в райком надо.

Яшка начинал злиться:

– Вот заладил одно и то же: не могу да не могу. Ты не юли. Говори прямо: хочешь или не хочешь?

Яшка был парень напористый, но ответа он так и не получил, – другие, совершенно неожиданные события не дали Николаю возможности принять окончательное решение.

– 16 –

В самый канун Октябрьских праздников Николай получил паспорт.

– Пока что временный, – сказал сидевший за окошком румяный, похожий на девушку сержант милиции. – Распишитесь. Через шесть месяцев выдадим постоянный. И здесь тоже.

Николай с трудом расписался, держа перо между большим и указательным пальцем, посмотрел на фотокарточку, – до чего ж унылое лицо! – сунул паспорт в карман и пошел в райком: он находился напротив.

Райком занял около часу. В шесть Николай вернулся домой.

На лестнице столкнулся с управдомшей – энергичной, хриплоголосой женщиной в стеганой военной телогрейке. В последние дни, встречаясь с ним, она как-то странно на него поглядывала. Сегодня она просто подошла и сказала:

– Простите, вы, кажется, в шестнадцатой квартире живете?

– В шестнадцатой, – ответил Николай.

– И, если не ошибаюсь, вы сейчас уже не военный служащий?

Николай, до сих пор ходивший в погонах (как Яшка говорил, для облегчения жизни), немного смутился.

– Да, вроде как уже не военный служащий.

– И живете на жилплощади Гиреева?

– Так точно.

– И не прописаны?

– Совершенно верно.

Управдомша многозначительно помолчала, глядя на Николая недружелюбным взглядом, потом сказала:



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Но вам должно быть известно, что непрописанными на чужой площади могут жить только военнослужащие.

– Нет, это как раз мне и неизвестно, – ответил Николай. – Но если это необходимо, я, конечно, сейчас же пропишусь. Паспорт у меня в кармане, только что получил.

На управдомшу это не произвело никакого впечатления.

– Вашего желания недостаточно, – сухо сказала она. – Вам придется сходить в райжилуправление к товарищу Кочкину.

– А зачем мне нужно идти в райжилуправление к товарищу Кочкину? – Николай почувствовал, что начинает раздражаться.

– А затем, что без его разрешения я не имею права выдать вам форму номер один.

– Что это еще за форма?

– Справка о том, что санминимум разрешает вам поселиться на данной площади. У Гиреева сколько метров?

Николай на минуту задумался.

– По-моему, двенадцать.

– А по-моему – одиннадцать, – так же сухо и недружелюбно сказала управдомша. – Вряд ли Кочкин разрешит. На человека полагается шесть метров.

– Ну, это уж я с ним буду решать! – резко сказал Николай и стал подниматься по лестнице.

Управдомша крикнула ему вдогонку:

– Прошу только не задерживать решения. Я вовсе не намерена иметь из-за вас неприятности от участкового.

Николай ничего не ответил, но, открывая дверь, подумал, что, очевидно, с этой дамой надо разговаривать на другом языке.

В коридоре, стоя на табуретке, возился со счетчиком Яшка. Николай чуть не сшиб его.

– Чего это ты там возишься?

– Обещают свет на праздники дать. Такую иллюминацию запустим – держись только.

– Ну, а меня можешь поздравить – получил паспорт наконец.

Яшка соскочил с табуретки.

– Ого! Празднички, значит, погуляем, а девятого – ко мне. Идет?

– Черта с два. Встретил сейчас эту мымру на лестнице. Не хочет прописывать.

– Кто? Управдомша?

– Ага. Говорит, не хватает какого-то санминимума у Валерьяна Сергеевича.

Яшка свистнул.

– Это все Кочкин. Из райжилуправления. С ним надо... – Яшка ткнул вдруг Николая пальцем в грудь. – Ничего с ним не надо. Пропишешься у Острогорских. Ну, чего смотришь? Муж имеет право прописываться на площадь жены. Такой закон есть, – весело подмигнул. – Понял теперь? Поддай-ка мне плоскогубцы. Вон там, на полу лежат.

Анна Пантелеймоновна второй день не ходила на службу. У нее был грипп.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Температура подскочила до тридцати девяти, и Валя с великим трудом – Анна Пантелеймоновна отчаянно сопротивлялась – уложила ее в постель. Собственно говоря, даже не в постель, а на диван, так как, по теории Анны Пантелеймоновны, ни в коем случае нельзя показывать болезни, что ее боишься, иными словами, нельзя лежать в кровати, а надо целый день слоняться по комнате или, в крайнем случае, лежать на диване, укрывшись, упаси бог, только не одеялом, а обязательно стареньким изъеденным молью пальто.

Когда Николай вошел, Анна Пантелеймоновна лежала на диване и спала. Рядом на стуле стоял стакан воды, а на полу валялась выпавшая из рук книга.

Николай поднял книгу и поправил сползшее пальто. В комнате было холодно. Он вышел на кухню, нарубил дров, затем вернулся и принялся растапливать печурку.

Анна Пантелеймоновна заворочалась. Скрипнули пружины – повернулась, очевидно, на другой бок. Слышно было, как она шарила рукой по стулу, ища стакан. Николай обернулся.

– Может, вам свеженькой принести?

– Ах, это вы? Я и не заметила. Нет, нет, не надо. – Она сделала несколько глотков. – Валя дома?

– Нет, не приходила еще. Зажечь коптилку?

– Нет, спасибо, не надо. Я так полежу.

Николай удивился. Анна Пантелеймоновна не умела просто так лежать. Она всегда находилась в действии, а если уж лежала, то обязательно что-нибудь читала. Очевидно, она сейчас себя по-настоящему плохо чувствовала. Но Николай ничего не спросил: он знал, что Анна Пантелеймоновна не любит этих расспросов. На цыпочках вышел в кухню, наполнил чайник, вернулся, поставил его на печку и опять сел возле нее, подбрасывая время от времени чурки.

Он долго так сидел и смотрел на весело потрескивавшие в огне дрова, Вот так вот сидел он и в Сталинграде, в своей землянке. И такая же была у него печурка, и так же весело горел огонь, а забавный курносый Тимошка старательно всовывал в нее кирпичи. В Сталинграде топили кирпичами, пропитанными керосином. Керосина было много, целый состав, и битого кирпича тоже хватало – вот и мочили его в ведре с керосином, а потом топили им. Очень хорошо горело.

Эх, Сталинград, Сталинград... Как часто о нем вспоминаешь! Об этом городе, стертом на твоих глазах с лица земли и все-таки оставшемся живым. Как хочется посмотреть на него сейчас! Как радуешься каждому человеку, для которого такие слова, как Мамаев курган, Банный овраг, Соляная пристань, не только слова, названия, а часть жизни, – может быть, самая значительная часть ее.

И, может быть, именно потому Николай просидел в кабинете секретаря райкома дольше, чем положено сидеть у занятого человека, что секретарь тоже оказался сталинградцем. Немолодой уже, грузный человек, с розоватым шрамом на усталом небритом лице. Оказывается, воевал совсем рядом, у Родимцева, начальником артиллерии дивизии. Его НП на кургане находился в каких-нибудь ста метрах от НП Николая. Может, они и встречались там. Может, даже и переругнулись когда-нибудь.

Секретаря поминутно отрывал телефон, несколько раз кто-то заглядывал, в приемной сидели люди, – но как не вспомнить о прошлом?

А потом обычный, звучащий всегда немного иронический вопрос:

– Ну, где легче, здесь или там?

И за ним уже деловой:

– Так что же мне тебе, друг, предложить? А?

Повертел пальцами самопишущую ручку – «понимаю тебя, разведчика, но что поделаешь, жизнь того требует», – и предложил должность инспектора райжилуправления.

– Это у нас сейчас самый тяжелый участок. Людям жить негде, а с каждым днем их прибывает. – И, подумав, почесав ручкой лоб, добавил: – Место скользкое, знаю, не всякий на нем усидит. Тут рта не разевай. Присматривайся к людям, кому можно доверять, кому нет. Попадают у нас еще людишки, которые и на немцев работали, и на нас хотят заработать. А есть и просто жулики. Смотри не попадись им на удочку. А главное, в деле разберись. Придется тебе там и со строительством столкнуться. Не Днепрострой, конечно, но дома в большинстве все-таки аварийные, еле-еле дышат. Завалится какой-нибудь – кому отвечать придется? Тебе придется. А коммунист ты молодой, опыта нет, знаний нет. Небось, кроме как стрелять, да гранаты бросать, да на брюхе ползать, ничего не умеешь? Так ведь?

Николай молча кивает головой. На этот вопрос не ответишь.

Кем, в сущности, он был до войны?

Обыкновенный малый. В детстве гонял голубей, не очень усердно ходил в школу, не любил математику, любил физкультуру, не пропускал ни одной кинокартины, бегал «зайцем» в цирк на чемпионаты французской борьбы, летом пропадал на пляже.

Родители мало им интересовались. Мать умерла, когда ему не было еще шести лет. Отец женился на другой, потом разошелся, опять женился. Был он слесарем, работал в артели, чинил примусы, замки, изрядно пил. В маленьком домике их, на Лукьяновке, на самой окраине города, всегда толкались какие-то люди, что-то покупали, продавали. Николай ушел. Сначала думал поступить в морской техникум, послал даже заявление в Одессу, но его не приняли из-за отца-кустаря.

Пятнадцати лет он уже неплохо крутил сальто. Какие-то циркачи на пляже предложили ему поступить к ним в труппу. Но циркачей вскоре почему-то арестовали, и Николай (все благодаря тому же пляжу) устроился матросом на спасательной станции. Потом был мотористом на переправе через Днепр. Потом опять же матросом на пароходе «Котовский», ходившем в Херсон. В тридцать седьмом году поступил в физкультурный техникум, в тридцать девятом в институт. Окончить его помешала война.

Для полноты биографии добавим еще, что перед самой войной он женился. Женился на Шура Вахрушевой, которую знал, когда еще был мальчишкой (она с мамой жила через три дома от них, на Лукьяновке), а потом встретился опять на городских легкоатлетических соревнованиях, в которых завоевал второе место по прыжкам с шестом.

По натуре своей человек он был тихий, не любил скандалов и так называемых «заводиловок», но если уж разозлят или заденут, в долгу не оставался. За один из таких случаев его раз чуть не исключили из комсомола, и только потому, что на пароходе он был одним из самых дисциплинированных матросов, дело ограничилось замечанием.

Вообще же парень он был хороший, компанейский, и, может, именно поэтому Шура на него иногда и обижалась. Как и большинство женщин, она не всегда понимала, что мужчинам иногда хочется побыть вместе, без жен, что куда интереснее и веселее, например, в субботу вечером взять лодку и поехать на ночь и на воскресенье с ребятами на Десну, чем напяливать на себя рубашку с воротничком и галстук, которого он терпеть не мог, идти с ней в театр, ходить под руку по фойе и, толкаясь у прилавка, покупать теплый клюквенный напиток.

Иногда Николаю даже казалось – это бывало, правда, не часто, обычно когда он возвращался откуда-нибудь навеселе и Шура с обиженным видом сидела что-нибудь чертила (она работала чертежницей на Кабельном заводе) и ничего не спрашивала, – иногда ему казалось, что не стоило так рано жениться и что вообще, быть может, жениться совсем не надо или, в крайнем случае, лет до сорока. А через час они уже бежали куда-нибудь в кино, и Николай не без гордости замечал, что в фойе на его Шуру все оборачиваются. Оборачиваются, хотя она вовсе не считалась хорошенькой, и у нее много было подруг, которые были куда красивее ее, и делали себе перманент, и брови выщипывали, а вот оборачивались больше на Шуру. А она не обращала на это никакого внимания – только смеялась. «Я вообще мужчин не люблю, – говорила она, – от них табаком пахнет, и бриться почему-то не любят. Я б и за Николая не пошла, если б не мама. Только для нее и вышла замуж...»

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Но это было, конечно, неправдой. Шура любила его. И он Шуру. И вообще жили они хорошо и дружно и, может быть, не случись война, жили бы так и до сегодняшнего дня...

Вот, собственно говоря, и все, что можно рассказать о довоенном Николае. Хороший парень – вот и все. Если вы зайдете к нему, он всегда будет вам рад. Быстренько сбегает на угол, купит все что полагается. Через полчаса будет уже петь песни, стараясь перекричать вас, потом выжмет стойку на стуле и, посмотрев на пустой стол, предложит опять сбегать на угол. Тут запротестует Шура, а он, весело подмигнув вам, скажет: «А что, если мы мотнем на Днепр?» Это в случае, если вы зашли к нему летом и в воскресенье. И вы не пожалеете, если поедете с ним. У него и удочки, и червяки, и лодку он выберет самую легкую, и места он знает на Днепре самые хорошие, – одним словом, время вы проведете с ним неплохо. Только не заводите с ним разговора на международные темы: в этом он мало разбирается. Правда, если б вы в свое время заговорили с ним об испанских событиях, он вздохнул бы и сказал: «Эх, вот куда бы я поехал! Хороший народ. И воюет хорошо. наших вот только там маловато». И тут, может быть, даже выругался бы.

Но в Испанию поехать ему не довелось, воевать пришлось гораздо ближе. Провоевал он три года – с 22 июня по 24 июля. Тяжелые три года. Но именно в эти три тяжелых года Николай узнал то важное и нужное, чего не знал раньше.

До войны у него были товарищи – и на пароходе, и в техникуме, и в институте, – со многими из них он по-настоящему дружил. Но это было только товариществом, не больше. Дружба людей, рожденная общностью работы, учения, а может быть, и просто молодостью.

На фронте все это стало другим. Именно на фронте Николай понял, что товарищи – это не просто твои товарищи, к которым ты привязан потому, что они тебе нравятся, а что это и есть народ, то самое, что для Николая было до войны большим, но все-таки до какой-то степени отвлеченным понятием. На фронте Николай узнал народ. Узнал и оценил.

Узнал он там и другое – чувство ответственности. Ответственности перед людьми, перед самим собой, ответственности за их жизнь, за правильно принятое решение, за выполненную задачу. Без этого нельзя воевать. Об этом надо помнить каждую минуту, каждую секунду, всегда, везде, при любых обстоятельствах. Помнить, когда посылаешь людей в разведку, когда ведешь их в бой, когда приказываешь отступить или окопаться перед противником, который впятеро сильнее тебя. Помнить, что приказ свят, что не выполнить его нельзя, что, взяв эту высоту, ты, может быть, на день, на час, на минуту приблизишь день победы. И помнить, что выполнять приказ будут люди, жизнь которых зависит от твоей находчивости, сообразительности, ума и опыта и у которых больше дней впереди, чем позади, у которых матери, сестры, жены, дети.

Помни об этом. Каждую минуту помни. Помни, потому что именно это великое чувство ответственности рождает другое, не менее важное на войне чувство – чувство доверия солдат к тебе, своему командиру; именно оно – великое и трудное чувство ответственности – убивает страх перед смертью, рождает стойкость, упорство, волю, рождает победу, и именно оно превращает веселого, беспечного, живущего своей молодостью малого в человека.

И Николай понял это.

– 17 –

Николай сидит, смотрит на прыгающий по щепкам огонь и думает.

Секретарь со шрамом на лице сказал: «Это очень тяжелый участок».

Тяжелый участок. Николай три дня сидел с группой разведчиков в отрезанном от своих блиндаже. Дважды пересекал днем Волгу под обстрелом двух пулеметов и минометной батареи. Отражал со своим взводом атаку танков. Дай бог, чтоб этого никогда больше не было. Даже сейчас, как вспомнишь...

И вот опять тяжелый участок. Не окоп, нет, – колченогий стол с ящиками, бумагами, шкаф, набитый папками, протоколы обследований, акты... «Я, инспектор такой-то, обследовал квартиру такую-то...»

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Тяжелый участок... На фронте нелегко, но там сознание, что ты делаешь самое  
главное. А здесь? «Место скользкое, не всякий усидит».

Заявления, жалобы, протесты. Десятки, сотни, тысячи. Мать с двумя детьми, муж  
погиб, жить негде... Стоит и смотрит на тебя. Жить негде. На руках дети. Плачут.

А может, это так же важно, как захватить сопку, отбить атаку? Подумай  
хорошенько.

И Николай думает. Смотрит, сощурившись, на огонь и думает.

В печке что-то зашипело и треснуло. Вывалился на пол уголек – маленький,  
красный. Николай бросил его обратно, подкинул еще несколько полешек. Одно  
смешное, какое-то изогнутое, с кривым сучком, похожее не то на собаку с  
хвостом-бубликом, не то на лицо старика с крючковатым носом. В комнате совсем  
тихо, только потрескивают дрова и равномерно тикают над головой часы с  
подвешенным вместо гири замком.

Как трудно принять решение! Ох, как трудно! И если б одно, а то ведь не одно.  
Все навалилось сразу... На фронте, там приказ. Он усложняет жизнь, но и упрощает  
ее. О многом можно не думать. Здесь приказа нет. Здесь ты сам себе должен  
приказать. Приказать и выполнить.

...Сегодня по дороге в милицию Николаю показалось, что он увидел Шуру. Он даже  
вздрогнул, Шура или похожая на нее женщина, – Николай видел ее со спины, –  
стояла в очереди у самого входа в распределитель. Когда он подошел, часть  
очереди впустили внутрь, и ему так и не удалось увидеть лица.

А ведь прошло уже два месяца, даже больше, с тех пор, как они виделись в  
последний раз. В первый и последний. Возможно, если б они встретились еще... Но  
зачем об этом думать? Ведь он принял решение еще там, на своей лужайке, и это  
правильное решение. Надо только, чтобы все стало на свое место, стало так  
прочно, чтобы уже не сдвинуть.

Часы вдруг остановились. Крак – и стали. Опять этот чертов замок – все время  
цепляется за маятник. Сколько раз повторял себе: надо заменить его, повесить  
настоящую гирию. Завтра же он это сделает. Валя раз пять уже опаздывала из-за  
этих часов на работу.

Николай встает, на цыпочках подходит к часам, подталкивает пальцем маятник –  
опять пошли.

Восемь часов. Без пяти восемь. Через полчаса придет Валя. Сегодня пятница, по  
пятницам она всегда приходит раньше. Нет, сегодня у нее вечер, он совсем забыл,  
– предпраздничный вечер в институте. Раньше двенадцати часов она не вернется.

А может, пойти ей навстречу? Пройтись опять по Ботаническому саду – сейчас там  
так хорошо, последние осенние дни. Дубы и тополя еще зеленые, еще осыпаются  
клены – в этом году все как-то запоздало. Валя насобирает листьев – красных,  
желтых, золотистых, заполнит ими всю квартиру. Набьет ему все карманы каштанами.  
Милый, забавный, рыжий сержант... Сколько еще детского в этом солдате. Смешная...  
Убежала тогда. А потом три дня ходила с таким лицом – страх, – не подходи. Вот  
тебе и сержант...

Анна Пантелеймоновна зашевелилась на своем диване. Потянулась за стаканом.

– Может, вам чайку налить? – спрашивает Николай.

– Чайку? – Анна Пантелеймоновна отвечает тихо и как-то неопределенно, точно сама  
не знает, хочет она чаю или нет. – Ну что ж, налейте.

Николай достает старую фаянсовую кружку Анны Пантелеймоновны, с которой она не  
расстанется последние тридцать лет, – большую кружку с охотником и бегущим зайцем  
такого же роста, как охотник.

– А я сегодня паспорт получил, – говорит Николай, ставя чашку совершенно  
черного, как любит Анна Пантелеймоновна, чаю на стул. – Можете меня поздравить.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
– О! Знаменательное событие.

– И в райкоме был. Работу предложили.

– Хорошую?

– Как сказать! Бывает, конечно, и лучше.

Прикрыв чайник подушкой, Николай садится в ногах у Анны Пантелеймоновны верхом на валик.

– А с паспортом... смешно. Получить-то получил, а вот прописать не хотят. Говорят, санминимума у Валерьяна Сергеевича не хватает. Шесть метров, говорят, на человека надо, а у него одиннадцать.

Анна Пантелеймоновна мешает ложечкой чай, наливает его в блюдечко – она не любит горячего чая.

– Да, – Николай смеется, но смех какой-то невеселый. – Ввалишься, бывало, после похода в хату, хозяйка о санминимуме ничего не говорит. А здесь вот пожалуйста, – шесть метров на человека. В вашей, например, комнате могла бы рота расположиться. И еще считалось бы, что свободно.

Анна Пантелеймоновна ничего не отвечает. Неловко. Получилось, будто он напрашивается в эту комнату. Он этого вовсе не хотел, сказал просто так, к слову, а получилось вроде напрашивается.

Анна Пантелеймоновна молчит. Держит в руках кружку и машинально размешивает сахар, глядя куда-то в сторону. Потом ставит кружку на стул.

– Добавочку? – спрашивает Николай.

– Спасибо, Коля, не хочется.

Николай идет на кухню, приносит еще несколько поленьев. Вернувшись, застаёт Анну Пантелеймоновну уже сидящей на диване, в накинутом на плечи пальто. Ее, очевидно, все еще знобит.

– Коля, я поговорить с вами хотела, – тихо говорит она.

– Сейчас, одну минуту!

Николай накладывает дрова, раздувает начавшую уже потухать печку, потом садится верхом на валик, на свое любимое место.

– Я хотела поговорить с вами, Николай, – говорит Анна Пантелеймоновна, и голос ее слегка дрогнул. – Давно хотела. Но все как-то... То времени нет, то... Об этом трудно говорить. Может, вы меня и не поймете. Вы молоды, у вас все это как-то по-иному, а для нас, для людей, – она подыскивает подходящее слово, – ну, не вашего поколения, скажем стариков...

– Ну, какой же вы старик, Анна Пантелеймоновна! – смеясь, перебивает Николай и тут же видит, что не надо было этого делать, – слова прозвучали развязно, фальшиво.

Анна Пантелеймоновна как-то необычно, с несвойственной ей серьезностью, взглядывает на Николая и сразу же отводит глаза.

– Я хотела вас спросить... Вы как-то никогда об этом не говорили. И вы не будете сердиться на меня. Но... – Она немного растерянно улыбается. – Скажите мне, Николай, у вас есть жена?

Она говорит это так тихо, что Николай скорее догадывается, чем слышит ее.

– Есть, – не поднимая головы, говорит Николай и, помолчав, добавляет: – Мы не встречаемся.

По коридору кто-то прошел. Не то Валерьян Сергеевич, не то Муня, – оба они дома

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru ходят в шлепанцах, и Николай никогда не может угадать, кто же из них прошел. Когда хлопнула дверь в ванну, Анна Пантелеймоновна спросила так же тихо, как и раньше, – ей трудно говорить.

– Вы развелись?

– Нет.

– Тогда... Как же?

– Да так... – Николай не знает, что ответить. Об этом трудно говорить. – Так получилось...

Сидя на валике дивана, он перебирает бахрому свисающей с него кисти.

– Ну, вот и все, – говорит Анна Пантелеймоновна. – Спасибо. Я знала, что вы прямо все скажете.

Молчание. Оно длится довольно долго. Как громко тикают эти проклятые ходики! Анна Пантелеймоновна положила руку на колено Николая – маленькую худую руку, когда-то, видно, красивую, а сейчас потрескавшуюся от старости, черную от кухни и картошки.

– Сейчас война, Коля. И на войне многое очень просто. Я знаю. И, может быть, даже понимаю. Но это страшная простота. Не надо ее. – Она смотрит на Николая своими молодыми, живыми, сейчас чуть-чуть как будто извиняющимися глазами. – Вы понимаете меня?

Николай молча кивает головой. Он понимает, о чем говорит Анна Пантелеймоновна. Он понимает, что для этой доброй, хорошей, перенесшей такую тяжелую жизнь женщины все счастье заключено сейчас только в одном – в ее дочери. Он понимает, о чем говорит Анна Пантелеймоновна. Это не требование соблюдения формы, это требование быть честным. Он встает и молча выходит из комнаты.

– 18 –

Снег. Первый в этом году снег. Николай идет по улице, все с тем же чемоданчиком в руке, в непригнутой госпитальной шинели, в ушанке на затылке – все-таки жарко еще в ней.

Завтра праздник. На фасадах домов вешают портреты, лозунги, пятиконечные звезды с выкрашенными красной краской лампочками.

– Эй, друг! – кричит Николаю кто-то, стоящий на приставленной к стенке лестнице. – Поддержи, пожалуйста, скользит проклятая лестница.

Парень в расстегнутой телогрейке, с папиросой за ухом, старательно вбивает костыль в стенку. Внизу, возле лестницы, стоит портрет.

– Теперь подай портрет. Осторожно только, тяжелый.

Николай подает портрет. Парень пристраивает его, потом соскакивает с лестницы и отходит на мостовую.

– А ну глянь! По-моему, хорошо.

Николай соглашается – немного криво, но хорошо.

Парень вытирает лоб.

– Это мы поправим. Это нам раз-два, и все. Но вообще неплохо. Правда?

– Неплохо.

– Ну, а теперь давай лозунг.

После лозунга еще один портрет. Потом герб и флаг над самым подъездом. Становится жарко. Шинель и телогрейку приходится скинуть. Флаг пристраивают к балкону, для чего надо зайти в чью-то квартиру. Там уже празднуют. Никто не

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru удивляется их приходу. Без всяких возражений открывают заклеенный балкон, и каждый дает совет, как лучше пристроить флаг. Потом подносят обоим по рюмочке и суют в руку бутерброды с колбасой.

– Ну спасибо. Простите, что помешали.

Парень порывается еще куда-то идти с Николаем, но денег нет ни у того, ни у другого. Они прощаются.

– Заходи, – говорит почему-то парень, неистово тряся Николаю руку. – Во дворе, лестница направо, шестая квартира. Колесниченко. Юрий Колесниченко.

А снег все идет. Ватага школьников уже перебрасывается снежками. Хохочут. Твердый, холодный снежок угодил Николаю прямо в ухо.

– Ох, простите! Мы не нарочно, простите! – и опять хохочут.

– Черта с два!

Николай ставит свой чемоданчик на землю, лепит снежок и ловко попадает в засыпанного снегом парнишку. Ничего, не разучился еще...

В зоне обстрела какой-то прохожий с поднятым воротником.

– Безобразие! – ворчит он. – Ну просто безобразие...

Ватага разбегается.

Снег вдруг перестал. Уже начинает таять. Жаль. Николай сгребает его с какого-то подоконника и с удовольствием глотает – мягкий, холодный, сразу тающий во рту.

Только часам к двенадцати Николай попадает к Сергею. Тот лежит на своей скрипучей железной койке, положив ногу на спинку, и курит. Протез стоит рядом, прислоненный к стенке.

Николай ставит чемоданчик в угол.

– Принимаешь?

Сергей свистнул.

– Вот это да! Пропавшая грамота! – И тут же, с грустной уже интонацией: – А встретить-то и нечем! – Наклонившись, он долго шарит рукой под кроватью. – Вот всегда так: когда надо – нету, а когда не надо – есть.

– Ну и бог с ней.

– Ладно. Рассказывай. Где пропадал?

– Пропадал или не пропадал, а вот нашелся. Где спать положишь?

– Из госпиталя, что ли? Прогнали?

– Нет, не из госпиталя.

– Шура?

– И не Шура.

Сергей смотрит на шинель без погон.

– Демобилизовали?

– Шесть месяцев. Один черт! Паспорт уже в кармане. – Николай хлопает себя по боковому карману. – С сегодняшнего дня новую жизнь начинаю.

Сергей криво улыбается.



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Вот и мне предлагают...

– Что предлагают?

– Новую жизнь начинать. А я не хочу.

– Почему?

– А потому. Не хочу, и все. Старая нравится.

– Не говори ерунды. Противно слушать.

– Не слушай, раз противно.

– Ну, на кой черт тебе все это надо? Ей-богу. Плюнь ты на них, брось ты эту лавочку, пока не поздно. Паспорт есть у тебя?

– Есть.

– Ну вот и давай вместе начинать. Вдвоем легче.

– Что? Работу искать? Да подавись она... Разучился я работать. Да и платят мало. А я деньги люблю.

– Врешь – не любишь! Вид только делаешь.

– А зачем мне делать? И вообще хватит об этом. Надоело. – Он сердито смотрит на Николая, небритый, обросший. – У Шуры был?

– Нет.

– Почему?

– Завтра собираюсь.

– Вот это да! – Он весело смеется, хлопая Николая по плечу.

– Развестись решил, – мрачно говорит Николай.

Сергей перестал смеяться, смотрит на Николая – глаза уже злые, – потом говорит одно только слово:

– Дурак!

Николай молчит.

– Нет, видали дурака... Сам себе жизнь портит.

– Не знаешь, не говори.

– А я ничего и знать не хочу. Дурак, и все. Безмозглая башка. Ну, я, дрянь, пьяница, бузотер, безногий инвалид, кому я нужен? А ты! Красавец парень – ну, немножко там нос подгулял, бывает, – но, в общем, парень гвоздь. Капитан, гвардеец, член партии, ноги на месте, что еще надо? – Он долго, точно проверяя сказанное, смотрит на Николая. – И чего я только полюбил тебя, подлеца? Пес его знает почему. И видал-то всего три-четыре раза, а люблю, и хочется мне, чтобы все у тебя хорошо было. А ты вот не хочешь. Не хочешь, и все. Вбил себе в голову какую-то ерунду... – Он хватается Николая за голову и смотрит ему в глаза. – Ведь Шура ждет тебя, понимаешь? Ждет.

– Так не ждут, – говорит Николай.

– Ждут, ждут... Ты ничего не понимаешь. Ждут!

Они долго спорят. Сергей убеждает. Николай упорствует. Никаких жен. Это он твердо решил. И завтра же пойдет к Шуре. Тянуть нечего. А то ерунда какая-то – муж не муж, жена не жена. Надо точку поставить. И он свободен, и она свободна. Сядет в поезд, и – ту-ту! – подальше отсюда. В Сибирь куда-нибудь? А? Поехали в

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Сибирь.

– Там холодно, не хочу. И вообще – ну тебя в болото!

– Тогда на юг, на Кавказ, в Баку. Я там четыре месяца в госпитале провалялся. Хороший город. И винограду – завались! И вина. И рыбы. Устроимся где-нибудь на рыбном промысле, как боги. И корешок у меня там есть. Хороший парень. В госпитале сдружился. И сестра у него красавица. В самый раз тебе. Чернобровая азербайджаночка. А глазищи – во! Женим вас, и родится у вас черноглазый такой пацан, и будешь ты его качать на коленке, а я сидеть рядышком и улыбаться, винцо попивать...

Сергей качает головой:

– Красиво все это, брат, да не про меня. Не умею я этого. А учиться поздно. – Он шумно вздыхает.

Стол полон окурков. Накурено так, что приходится открывать окно.

Часам к пяти Сергей говорит:

– Точка. Пора спать. Тикай на свой тюфяк.

Николай вытягивается на тюфяке, прикрывается шинелью. Рядом ставит голубенький трофейный будильничек. Устанавливает его на одиннадцать. Пусть в одиннадцать разбудит. Он твердо решил пойти сегодня к Шура. Кончать так кончать...

Только подходя к Шуриному дому, Николай подумал, что может ее не застать. Сегодня ведь демонстрация. Ну, ничего, подождет. Сядет в той же самой кухне, где уже сидел когда-то, и дождетя в конце концов. Торопиться ему некуда.

Он поднялся на третий этаж и постучал. Шура была дома. Он застал ее моющей пол. В подоткнутой юбке, стоя на коленях, она скребла ножом пол возле печки.

Николай вошел молча. За него громко постучала в дверь какая-то соседка и крикнула: «Шура, к вам!» Шура, не подымаясь, через плечо взглянула на вошедшего. Потом медленно встала, держа в одной руке нож, в другой тряпку, сделала несколько шагов, и тут произошло то, что должно было произойти еще тогда, два месяца тому назад, в госпитале, – она заплакала.

Она ничего не сказала, она стояла посреди комнаты, с тряпкой и ножом в руках, с испачканным носом, и по щекам ее, совсем как у ребенка, катились большие прозрачные слезы.

Николай почувствовал, что у него щекочет в горле. Он шагнул вперед, притянул Шуру к себе и несколько минут смотрел ей в глаза – большие, сияющие радостью глаза, потом поцеловал их, по очереди, сначала один, потом другой...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

– 1 –

Самое необходимое в жизни человека, без чего ее никак нельзя назвать счастливой, – это мир и благополучие в семье и удовлетворение работой. Во всяком случае, в известном возрасте оба эти жизненные условия необходимы.

Так говорил Валерьян Сергеевич, любивший всякого рода определения, касающиеся жизни. И, как казалось Николаю, он этого всего достиг.

Шел тысяча девятьсот сорок пятый год. Война еще не кончилась. Но гремела она уже далеко, в Германии. Жизнь мало-помалу начинала входить в колею. С окон исчезла маскировка, на улицах появился свет, сначала робкий, приглушенный, потом уж настоящий, почти довоенный. Появилось, хотя еще и с перебойми, электричество в квартирах. Разбирали и взрывали развалины. Выросли первые строительные заборы с таинственными буквами «Ж.С.» – Жилстрой. В газетах появились фотографии новых домов, запроектированных на месте старых, разрушенных. Поговаривали даже о полной реконструкции центральной части города. Архитекторы и строители были нарасхват.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Кривая жизни ползла вверх.

Шла вверх она и у Митясовых. Они переселились в другую комнату: Шура не хотела оставаться в этой, с ненавистными ей соседями и сложными воспоминаниями. Обменяли они свою комнату на меньшую, и не на третьем, а на пятом этаже, но оба были молоды, лестниц не боялись, а комнатка была светлая, с балконом, с чудным видом на Печерск, Черепанову гору и, как утверждал Николай, на ту самую лужайку, где они сидели когда-то с Шурой.

Шура перетасила свои цветы, и оттого, что комната была маленькая, казалось, что их стало больше. Соседи были славные, тихие, незаметные и очень были довольны новой парой; у предыдущих жильцов было трое детей, по рассказам, довольно беспокойных.

Жизнь текла мирно и тихо. О Феде никогда не говорили. Он, еще до прихода Николая, уехал в Ригу, как только ее освободили. Он понял, что ему надо уехать. Понял с того самого дня, как пришел Сергей. Шура замкнулась, стала молчалива, – она ждала Николая. Федя понял это. И уехал. Как-то от него пришло письмо. Коротенькое, на двух страничках. Отец и мать его оказались живы, брат погиб на фронте. Сам он устроился на завод ВЭФ, тот самый, где когда-то слесарничал и сейчас продолжал слесарничать его отец. Вот и все. О Шуре очень скучает. Шура прочитала письмо на кухне, хотела порвать, потом раздумала, положила в сумочку и пошла на службу. Больше от Феде писем не было.

С октября прошлого года Шура работала в крупной проектной организации чертежницей. Николай прошел комиссию, получил третью группу и работал сейчас физруком в школе.

В школу эту он попал совершенно случайно. До этого работал в райжилуправлении.

Это были тяжелые три месяца – ноябрь, декабрь и январь. Ленинский район был самый разрушенный в городе. Квартир не хватало. Дома на девяносто процентов были аварийными. Люди жили в кухнях, в ваннных комнатках, в каких-то коридорах и кладовках.

Николай был инспектором. Ходил по квартирам, проверял заявления, выслушивал жалобы, составлял акты, присутствовал при страшных квартирных ссорах. Везде – на улицах, в магазинах, в кино, на темных лестницах, в еще более темных коридорах – его останавливали и, приперев к стенке, просили, угрожали, плакали, совали ему деньги, а у кого их не было, смотрели жалобными глазами и говорили: «Мы поблагодарим вас, товарищ Митясов, поблагодарим». Ему приносили прямо на службу и старались навязать завернутых в газету кур, кошелки с яйцами и творогом, а один раз даже живого поросенка.

Одним словом, дело было нелегкое. И все-таки первые недели Николай работал с увлечением. Целый день вокруг были люди – демобилизованные, реэвакуированные, погорельцы, – люди, которым нужна была помощь и которым по мере сил и возможности он пытался ее оказывать.

Но вскоре оказалось, что взгляды на эту помощь у Николая и его начальника Кочкина не совсем совпадают. Начались трения, мелкие, а потом и крупные стычки. Чем бы все это кончилось, трудно сказать, Кочкин был хитер и оборотист, чего, к сожалению, о Николае никак нельзя было сказать. Но тут, на счастье его, подвернулся Ромочка Видкуп.

Пришел он к нему с кучей бумажек и отношений, с желтыми от тола пятнами на шинели и долго доказывал свои, к сожалению, совершенно несостоятельные права на какую-то пятиметровую комнату без окна. Они даже поспорили тогда. Видкуп грозился, что пойдет куда-то жаловаться и напишет письмо Михаилу Ивановичу Калинин, и говорил об этом настолько несдержанно, что Николай вынужден был попросить его выйти из комнаты и не мешать работать. Потом они совершенно случайно встретились не то в прокуратуре, не то в горсовете, и тут вдруг выяснилось, что оба они лежали в Баку, в одном отделении, у одних и тех же врачей. Начались воспоминания, потом кружка пива, и кончилось тем, что Видкуп затащил Николая в 43-ю школу, где работал сначала истопником, потом комендантом, а сейчас, по совместительству, и старшим пионервожатым.

– Слушай, – сказал на прощание Ромочка, – переходил бы ты к нам, ей-богу. Нам

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru как раз физрук нужен, третий месяц ищем. А там тебя слопают, это ясно. И если свернут когда-нибудь твоему Кочкину шею, – а от этого ему не уйти, – то, поверь мне, до этого он раз двадцать успеет тебе свернуть.

Николай вздохнул, почесал затылок, а через неделю между ним и Кочкиным произошла стычка, чуть не кончившаяся скандалом. К счастью, все обошлось относительно мирно, – Николай только обозвал его жуликом и взяточником, хлопнул дверь и пошел в райком.

– Если хотите, чтоб вышло дело, – сказал он там секретарю, тому самому, который послал его в РЖУ, – направьте в эту шарашкину контору человека поопытнее во всех этих делах, чем я. А мне разрешите вернуться к моей довоенной специальности. Вот в школе, говорят, физрук нужен. А у меня все-таки два года института...

Секретарь отчитал его, сказал, что для того и послал в эту «шарашкину контору», чтобы он там порядок навел. Но, по-видимому, секретарь нотацию свою прочел главным образом из воспитательных соображений. Дней через десять в РЖУ появился новый инспектор – демобилизованный инженер-сапер.

Так началась педагогическая деятельность Николая.

После РЖУ школа показалась Николаю раем. То ли потому, что дети вообще больше любят учителя физкультуры, чем, скажем, учителя немецкого языка, то ли потому, что в самом Николае, опять столкнувшись после такого перерыва со спортивными снарядами, проснулось что-то довоенное, физкультурное, а может, и потому, что в Николае таилась какая-то не обнаруженная до сих пор педагогическая жилка, – так или иначе, но уже на второй день с полдюжины ребят провожали его домой.

Было это в январе.

С тех пор прошло три месяца. Тихие, спокойные, занятые работой и обычными, не очень сложными житейскими событиями.

Забегит Ромочка Видкуп – веселый, шумливый парень, мастер на все руки, инициатор всех школьных вылазок, экскурсий и походов.

Реже – раза три-четыре в месяц – появляется Сергей.

В его жизни тоже произошли перемены. Пришлось и ему начать «новую жизнь».

– Инструктор Осоавиахима. Удавиться! Шестьсот пятьдесят рублей. Ну что за работа, я тебя спрашиваю? Ни уму, ни сердцу, ни, главное, карману...

Почему и как это произошло – на эту тему Сергей особенно не распространялся. Разругались и все, ну их в баню...

Он действительно разругался. Разругался со Славкой Игнатюком, в прошлом старшиной, демобилизованным по какой-то никому не известной болезни, а сейчас организатором и главой «тапочного дела».

С чего ссора началась, бог его знает; кажется, с того, что Сергей привез не те тапочки, какие надо было. Славка ругался, говорил, что не хочет докладывать своих денег. Потом сказал, стукнув себя согнутым пальцем по лбу:

– Вот что в нашем деле главное. Понял? А не только это, – он щелкнул Сергея по протезу. – И намотай это себе на ус. Перевозить мало, надо думать!

Сергей еле сдержался, чтобы не отхлестать Игнатюка этими самыми тапочками по его жирной морде, но как подумал, что их обоих могут сейчас заграбастать – дело было на вокзале – и что ему вместе с ним придется отвечать, – плюнул, швырнул тапочки и ушел.

На этом кончилась «старая» и началась «новая» жизнь Сергея.

Приходил он мрачный, но водкой от него пахло реже. Садился на кровать и начинал поносить свою новую работу. Николай и Шура пытались его переубедить, но он вынимал из кармана маленькую черненькую коробочку, говорил: «Давай-ка лучше в козла постучим, скорее время пройдет», – и Николай, чтобы не обижать Сергея,

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru играл с ним в домино, которым даже в скучные госпитальные дни никогда не увлекался.

На полях Германии по-прежнему еще гремели пушки, солдаты ходили в атаки, санитарные эшелоны отвозили раненых в тыл – война еще шла, – но здесь, в маленькой комнате на пятом этаже, все было тихо и мирно. И если б все так продолжалось и дальше, тогда, пожалуй, и писать бы не о чем было. Но дальше пошло не так. И пошло с того самого дня, когда в этой самой уставленной цветами комнатке на пятом этаже появился, кроме Николая и Шуры, еще один человек, которому суждено было сыграть весьма существенную роль в жизни Николая.

– 2 –

Человеком, сыгравшим такую роль в жизни Николая, оказался средних лет капитан, в габардиновой гимнастерке с двумя рядами орденов планок, невысокий, плотный, слегка лысеющий. Явился он как-то ясным весенним утром, позвонил в маленький звоночек, совсем недавно проведенный Николаем, и осведомился у открывшей ему дверь Ксении Петровны – учительницы русского языка, жившей в конце коридора направо, – может ли он видеть ответственного съемщика квартиры.

– Я ответственный съемщик, – упавшим голосом ответила Ксения Петровна.

– Моя фамилия Чекмень. До войны я жил в той вот комнате. – Капитан указал на дверь Митясовых.

Ксения Петровна ничего не ответила, – она не знала, что в таких случаях надо отвечать. Тогда капитан поинтересовался, дома ли нынешние хозяева этой комнаты, и, узнав, что нет, слегка свистнул.

– Жаль. Тогда я попрошу передать им, что в девять часов я опять приду. Мне очень хотелось бы их видеть.

В дверях он на минуту задержался.

– А старых жильцов никого не осталось?

– Нет, никого.

Он козырнул и ушел.

Весь день Ксения Петровна со страхом ждала наступления девяти часов. Рассказывали, что в соседнем доме, когда вселялся какой-то майор, разыгралось чуть ли не настоящее сражение. Майор явился с солдатами, его не пустили, вызвали милицию...

Но на этот раз ничего подобного не произошло. Капитан пришел ровно в девять часов, но без всяких солдат.

Впустил его Николай. Сразу же проводил в свою комнату. Капитан вошел, поздоровался с Шурой и, взглянув при свете на Николая, сказал, чуть-чуть прищурив глаза:

– Хо-хо, дело плохо, – и протянул руку. – Чекмень. Капитан Чекмень.

– Вижу, что капитан, – без улыбки ответил Николай. – Моя фамилия Митясов. Садитесь.

Капитан сел.

– Демобилизованный, да? – Он посмотрел своими чуть-чуть смеющимися глазами на Николая. Тот до сих пор ходил в гимнастерке и сапогах.

– Как видите.

– Дело, безусловно, осложняется.

– Какое, интересно?

– Мирного устройства отвоёвавшегося воина, который когда-то жил в этой комнате.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Боюсь, что осложняется.

Капитан улыбнулся.

– Придется подавать в прокуратуру. Ничего не поделаешь.

– Подавайте. Если есть основания, конечно, надо подавать. – И, помолчав, добавил, точно между делом: – Кстати, вас именно из этой комнаты в армию взяли?

Капитан искоса взглянул на Николая.

– А вы что, все законы уже знаете?

– Кое-какие знаю.

Капитан промолчал. Потом встал, прошелся по комнате.

– Забавно. Ей-богу, забавно.

– По-моему, скорее грустно.

– Нет, все-таки забавно.

Он подошел к балконной двери и, наклонившись, стал рассматривать что-то рядом на обоях.

– Так и есть. 4-78-16 – Михеев. Смешно! Здесь когда-то телефон висел, понимаете?

Он опять подошел к столу, сел и посмотрел на Потолок.

– Все-таки вам надо было ремонт сделать. Сменить обои, побелить потолок. Впрочем, этим уж я сам займусь.

Николай и Шура переглянулись. Шура стояла возле маленького столика, вытирала тарелки, изредка поглядывая встревоженным взглядом на пришельца. По всему видно было, что сочувствия он в ней не вызывал. Николаю же, как ни странно, капитан этот чем-то даже понравился. Трудно даже сказать чем: то ли спокойствием, то ли чуть-чуть ленивой манерой говорить, а может, и просто взглядом: в маленьких, очень черных, широко расставленных глазах его где-то на дне все время светилась не то насмешка, не то ирония.

– Ну, так как же? – Капитан повернулся в сторону Николая.

– А никак. Будете ли вы подавать в прокуратуру или не будете, дело от этого не изменится. Комнаты вы этой не получите.

– Не получу? – Капитан приподнял брови.

– Не получите.

– Вы в этом уверены?

– Как дважды два – четыре. – Николай вынул портсигар и протянул капитану, тот отказался. – Вы где остановились?

– Нигде. Между небом и землей. На вокзале.

– Вещи есть?

– У каждого, приехавшего из-за границы, есть вещи.

– Тогда сделаем так. Тащите их сюда, переночуете у нас, а завтра, в девять утра, пойдем с вами в райисполком.

– И...

– Там увидим. Может, что-нибудь и получится.

Капитан пожевал губами, сощурился.

– Яволь! Иду на компромисс. Прокуратура временно откладывается.

На этом разговор кончился. Капитан пошел на вокзал за вещами.

Так началось знакомство Николая Митясова с Алексеем Чекменем, офицером штаба инженерных войск армии, прибывшим из Австрии с направлением в Округ для демобилизации.

– 3 –

Прожил Алексей Чекмень у Митясовых не день и не два, как предполагалось, а добрых две недели. Спал на балконе, на совершенно плоском волосяном тюфяке, вставал рано, раньше всех, делал зарядку, сворачивал и засовывал за шкаф свой тюфяк, выпивал стакан чаю из термоса и исчезал. Приходил поздно вечером.

Где он пропадал, никто толком не знал. Кажется, в штабе Округа или инженерном отделе – он мельком об этом упоминал, но никогда не вдавался в подробности.

Как жилец он был идеален. Он не требовал за собой никакого ухода, был аккуратен, не тыкал, как Сергей, во все углы свои окурки, не ходил, подобно Николаю, по комнате в одной майке и не разбрасывал повсюду свои ремни, планшетки и подворотнички. Моясь на кухне, всегда вытирал после себя пол и перебрался с соседями двумя-тремя ничего не значащими, но любезными фразами, что те очень ценили.

Одному Сергею он не понравился.

– Не люблю я таких типов. Планки нацепил и думает, что герой. Знаем мы этих героев. И потом: чего он всегда спрашивает, можно ли закурить?

– Просто воспитанный человек, – улыбалась Шура.

– Да кому она нужна, эта воспитанность? В Европе, мол, побывал. Интеллигенция. Дал бы я ему по этой Европе, да вас, хозяев, жалею. И вообще, Николай, – это уж Сергей говорил в отсутствие Шуры, – смотри, как бы это гостеприимство тебе боком не вышло. Что-то мне глаза его не нравятся. Больно хитры.

Предположение это было неосновательным. Шура, правда, немного побаивалась и стеснялась Алексея. Он был остер на язык, и никогда нельзя было понять, говорит ли он в шутку или всерьез. Шуру это всегда смущало. Поэтому, как только он появлялся, она сразу же умолкала, боясь сказать какую-нибудь глупость. Вот и все. При всем желании Сергей не мог обнаружить в их отношениях ничего предосудительного.

Не в пример многим фронтовикам, любящим поговорить о своих успехах и на женском фронте, Алексей был сдержан и никогда об этом не говорил. Вообще о себе и своем прошлом говорил мало и неохотно. Если его спросить – ответит кратко, без лишних подробностей, даже почти совсем без них. Было известно только, что по образованию он инженер – незадолго до войны кончил здешний строительный институт и оставлен был при какой-то кафедре. На войну попал в начале сорок второго года. Воевал на юге, потом в Польше, Австрии.

Вот, собственно говоря, и все, что было о нем известно. О родителях своих никогда не говорил. Семейное положение тоже было неясно. Шуру, как всякую женщину, этот вопрос, конечно, интересовал, но вразумительного ответа, как она ни старалась, добиться ей не удалось.

– Я убежденный холостяк, шурочка. Штопать носки я и сам умею. И стирать тоже.

– Не говорите так, Алексей. Так говорят только легкомысленные люди, которые...

– Которые что?

– Вы знаете что. А вы ведь не такой. Неужели вам не хочется...

– Нет, не хочется.

– Пойдите, ведь вы же не знаете, что я хотела сказать.

– Знаю. Неужели вам не хочется, чтобы рядом с вами был человек, который... Ну и тому подобное. Так вот, Шурочка, мне не хочется. Понимаете – не хочется. Любовь кончается тогда, когда в паспорте появляется штамп.

– Алексей...

Он чуть-чуть улыбался одними глазами, но лицо оставалось серьезным.

– А вы уже и поверили? Нет, Шурочка, дело не в этом. Дело куда хуже. Ведь мне тридцать четыре года, а чувствую я себя на целых сорок. В этом возрасте уже трудно влюбляться. А жениться без любви – вы бы меня сами осудили.

– Ну, вы еще найдете.

– Найду? – Все та же улыбка на дне глаз. – Нет, Шурочка, искать мне уже нечего. Давно уже нечего.

– Почему?

– Почему? Да по очень простой причине. В этом году будет ровно десять лет, как я уже нашел то, о чем вы говорите. – Тут он вдруг начинал смеяться, и Шура, как всегда, разговаривая с ним, становилась в тупик. – Десять лет. Ровно десять лет. А вы и не знаете? Ай-ай-ай! У меня ведь даже двое детей – Ваня и Маша. Ваня – черненький, Маша – беленькая. Они письма мне пишут вот такими буквами.

– А ну вас! С вами разговаривать...

Так Шуре и не удалось ничего выяснить.

Любимым изречением Алексея было – «все подвергай сомнению».

– Все подвергай сомнению, вот лозунг мой и Маркса, – говорил он совершенно серьезно, а глаза его, как всегда, чуть-чуть смеялись. – И не делайте, пожалуйста, удивленного вида. Старик действительно так сказал. Прочитайте-ка его «Исповедь».

Николай читал «Исповедь» и приходил в восторг от ответов на шуточные вопросы, поставленные Марксу его дочерьми. Особенно нравилось ему, что любимое занятие Маркса было рыться в книгах («и мое тоже...»), а любимое изречение – «ничто человеческое мне не чуждо».

Алексей только улыбался. Он был трезв и скепичен. Он много читал, многое видел. Он исколесил на фронтовых машинах пол-Европы и очень интересно умел рассказывать о людях, подмечая, правда, преимущественно забавные, комические черточки. Он был не прочь подтрунить и над Николаем. Особенно над его увлечением своими школьниками или над слишком идиллическими порой воспоминаниями о фронтовой жизни и дружбе.

– Это, брат, дело скользкое, фронтовая дружба. Окопное братство и тому подобное, фашисты здорово сумели все эти шуточки обыграть. Ну их...

– То есть как это «ну их»? – горячился Николай. – Самое святое, что есть в жизни...

– Святое-то оно святое, а обыграть сумели. И это один из важнейших пунктов гитлеровского культа войны. Перед смертью все равны, говорят они. Пуля не считается с тем, что ты фабрикант или рабочий, солдат или генерал. Война, мол, объединяет и уравнивает всех, и в этом ее величие. А отсюда и культ всевозможных окопных братств и товариществ по оружию, «кампфкамерадшафт» по-немецки. Вот так-то, брат, а ты говоришь...

Николай с интересом слушал все эти новые и неожиданные для него вещи, иногда соглашался, чаще спорил, вернее пытался спорить – с Алексеем это было нелегко.

Происходило это обычно ночью, перед сном, на балконе. Комната Митясовых выходила



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru на юг, за день нагревалась – весна в этом году была на редкость жаркая, – и к вечеру в ней нечем было дышать. Николай вытащил на балкон и свой тюфяк, и вот тут-то, погасив огонь, они с Алексеем лежали, смотрели в небо и подолгу разговаривали.

Николай полюбил эти ночные разговоры. Кругом тихо. Позванивают редкие ночные трамваи, гудят на станции паровозы, пробуждая желание куда-то ехать. Изредка упадет звезда. Пройдет кто-то с баяном. Проедет машина. И опять тишина.

Набегавшийся за день Алексей вскоре засыпал, а Николай долго еще лежал и, прожигая махоркой простыни, обдумывал все, о чем они говорили.

Один из таких ночных разговоров особенно озадачил Николая.

Начался он, собственно говоря, еще с прихода Сергея. Весь вечер он был мрачен, мрачнее обычного. Скинув гимнастерку и развалившись в плетеном кресле на балконе, он ругал свою службу, начальника. Потом, когда Шура, разливая чай, предложила ему для приличия одеться и привела в пример всегда подтянутого и опрятного Алексея, он вдруг обиделся, от чая отказался и ушел.

Шура заговорила о том, что надо было бы Сергея женить, больно уж он одинок. Николай не согласился: дело, мол, не в одиночестве, а в том, что Сергей потерял жизненную цель.

– Как сел в кабину своего самолета, так и не выберется из нее до сих пор. Сидит и сидит.

Алексей задумчиво катал хлебные шарики. Потом спросил вдруг:

– А у тебя она есть?

– Кто?

– Цель.

Николай пожал плечами.

– Глупый вопрос.

– Почему глупый?

– Потому что глупый.

Алексей улыбнулся.

– Возразить, конечно, нечего. Сдаюсь.

Шура, как всякая хорошая жена, заступилась за мужа.

– А школа? Разве это не цель? По-моему, воспитание молодежи – это ничуть не менее важно, чем... ну, хотя бы... – она запнулась, не зная, с чем бы сравнить, – ну, чем что-нибудь другое.

Алексей с улыбкой смотрел на нее.

– Ну конечно же ничуть не менее важно... Кто же спорит? Но я ведь ничего не утверждал, я только задал вопрос.

– Ну, а я ответила.

– И хорошо ответили. Разве я говорю, что плохо? Я сам великий поклонник Ушинского и Макаренко. Только мечтаю о том дне, когда с меня снимут погоны и разрешат вернуться к педагогической деятельности. Но это я. А вот ваш супруг. – Он подмигнул в сторону Николая, молча вынимавшего из дивана тюфяки. – Для него, боюсь, школа скорее средство, чем цель.

Шура ничего не ответила, старательно вытирала тряпкой клеенку.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
– Не цель, а средство, – повторил Алексей, – средство заполнить некую, образовавшуюся после фронта пустоту.

Шура продолжала вытирать клеенку.

– Не понятно? Могу объяснить. На фронте были разведчики. Здесь их нет. Они далеко. Здесь школьники. Вот вам и замена. Своеобразный эрзац разведчиков. А походы, вылазки, всякие там «маневры» – эрзац войны. Игра в войну... Иными словами, все тот же самолет Сергея.

Он посмотрел на спину Николая, все еще возившегося с тюфяками, потом на Шуру.

– Не согласны?

Шура сосредоточенно счищала что-то. Как всегда, она не умела сразу ответить.

– Не знаю, – сказала она. – Так или не так, но что касается меня, так я только рада этой школе. Все-таки школа, а не это чертово РЖУ.

– Ну, это уж другой разговор, – сказал Алексей.

Николай приостановился у балконной двери, держа в руках тюфяки.

– Почему другой?

– Да потому, что там, в РЖУ, у тебя была одна цель: поскорее убраться, и все. – Алексей встал из-за стола и потянулся. – В каком это фильме было? Самое важное в жизни – вовремя смыться...

Все еще стоя в дверях, Николай сказал:

– Если б это не ты, а кто-нибудь другой, я бы дал ему за такие слова в морду. Понятно? – и вышел на балкон.

Шура взглянула на Алексея, приложила палец к губам. Алексей понимающе кивнул, взял полотенце и вышел на кухню.

Когда он вернулся, Николай уже лежал в одних трусах на балконе и курил.

– Так, по-твоему, я все еще в «самолете» сижу?

– По-моему, да, – ответил Алексей.

Николай помолчал, потом спросил:

– А из РЖУ, значит, смылся?

– На эту тему я говорить не буду. После твоих угроз остерегаюсь.

– И правильно. Остерегайся. Не знаешь, не суди...

Алексей промолчал. Николай мигал папирсой.

– Смылся... Все вы так о других. Посмотрел бы я, что бы ты на моем месте запел. А то – смылся... Уютного местечка, по-твоему, искал, да? Так если хочешь знать, именно таким, как ты, надо там работать. Чтоб во всех этих балках чертовых и перекрытиях разбирался. Чтоб вокруг пальца не обкрутили, как меня хотели.

– Не понял.

– Поработал бы, понял, – Николай зло усмехнулся, – на второй день понял бы. Подсунули бы аварийный домик, составить акт на ремонт – сразу бы понял. Особенно когда спросят потом, сколько тебе жильцы за это дали. Тихонько так спросят, с улыбочкой, между делом будто...

– Кто это спросит?

– Тот же Кочкин хотя бы, начальник. А потом подсунет другой домик, почище

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru этого. Ты, мол, испугаешься, под немедленный ремонт не подведешь, а он в один прекрасный день возьми да обвались. Вот тебе и подсудное дело. А ты баран бараном, глазами только хлопаешь – иди разберись, какая там балка гнилая, какая нет.

Николай выругался, щелкнул окурком о стену.

– Эх, будь у меня знания!.. Нету вот, нету... Ну, хоть десятая часть, что у тебя. Разогнал бы, к чертовой матери всю эту шпану разогнал бы...

Алексей улыбнулся в темноте.

– Иди учись тогда. За чем же дело стало?

– Иди учись... – Николай перевернулся на спину, уставился в небо.

Из комнаты донесся звук заводимого будильника. Очевидно, Шура забыла завести его с вечера и заводила сейчас.

– Не спится что-то твоей жене, – сказал Алексей.

– Жарко в комнате, потому и не спится.

– Жарко, конечно, – Алексей помолчал, потом добавил тихо: – Грустная она у тебя почему-то. Всегда такая была?

– У нее умерла мать. При немцах еще.

Опять помолчали.

– А ты давно женат? – спросил Алексей.

– С сорокового. Пятый год уже. А что?

– Да так просто. Я тоже был женат. И тоже ничего не получилось.

Николай повернул голову.

– Почему «тоже»?

– А ты считаешь, не тоже?

– Я ничего не считаю. Просто не понимаю, о чем ты говоришь.

– О жизни, вот о чем. Сложная она штука... Как это твой старик говорил? Самое важное в жизни – это... Что-то там в семье, что-то на работе...

– Мир и благополучие в семье и удовлетворение работой.

Алексей зевнул и натянул на себя простыню.

– А как этого достичь, он не говорил? Спроси при случае. Обязательно спроси, – он повернулся спиной к Николаю. – Давай спать, завтра вставать рано.

– 4 –

Мир и благополучие в семье? А что это такое?

Вот у Николая мир и благополучие в семье. Он вернулся к Шуре. Она вернулась к нему. Они живут тихо и спокойно. Они никогда не ссорятся. Утром они встают, завтракают. Шура кладет в его спортивный чемоданчик чистые трусы и майку, завернутый в газету завтрак. Они уходят каждый на свою работу. Вечером встречаются, пьют чай. «Ну, как твои ребята сегодня? Как Вадик Суханов?» Николай рассказывает о Вадике Суханове, о волейбольном матче, о предполагаемом походе за город. «Ну, а у тебя как? Кончили этот злополучный лист, о котором ты говорила?» – «Кончили. Беленький даже похвалил. В этом месяце, говорят, премиальные получу».

Мир и благополучие в семье? Конечно, мир и благополучие.

Николай никогда не говорит о Феде. Он нисколько не ревнует к нему и вспоминает о нем, только когда подходит к оставшейся от него в наследство карте, чтоб отметить продвижение наших войск. Федя, кажется, живет сейчас в Риге, работает. Николай рад за него. Шура никогда не спрашивает Николая, увлекался ли он кем-нибудь на фронте. Она вообще не расспрашивает его о фронте. А он ее об оккупации. Они не говорят о прошлом. Как будто его никогда и не было. «Ну, как твои ребята сегодня?» – «Как твой чертеж?»

По субботам и воскресеньям они ходят в кино. Они видели много хороших картин. Видели «Кутузова», «Сражающуюся Францию», «Леди Гамильтон». Возвращаясь домой, они говорят о том, что понравилось. Мужчины по-прежнему оборачиваются на Шуру: за последнее время она поправилась, стала лучше выглядеть, почти совсем разгладилась складка у рта, которые так поразили в первый раз Николая. Да, мужчины оборачиваются и смотрят на Шуру, и ему, как мужу, это должно быть даже приятно. Один раз на улице он слышал, как кто-то сказал: «Смотрите, какая хорошая пара». Это про него и Шуру.

Ну конечно же мир и благополучие... И что б там ни говорил Алексей – «тоже не получилось», все это чепуха. У него, может, и не получилось, а у Николая получилось. А то, что он иногда вспоминает о Вале и как-то даже зашел в Ботанический сад, разыскал ту самую пещеру, где они сидели с ней, и посидел там немного, повспоминал прошлое – что ж тут удивительного? Да, ему с ней было хорошо, он и не собирается скрывать это от себя. Но это было. И все это уже позади. И хотя, может, это и некрасиво, что он ни разу с тех пор не был в шестнадцатой квартире, но пусть пройдет время... Сейчас у него Шура, и в семье у него мир и благополучие, и никуда он не будет ходить.

Теперь другой вопрос. Работа. Удовлетворен ли он своей работой?

Удовлетворен. У него не действовала рука – теперь она действует. Он занимается с ребятами. Он готов круглые сутки возиться с ними, ходить на Днепр, красить лодку, составлять по карте маршруты походов. И, ей-богу же, он приносит им какую-то пользу, сколько бы там ни иронизировал Алексей.

Что же еще надо?

А может, дело не только в том, доволен ли ты сам своей работой? Подумай-ка хорошенько. Проще всего ухватиться за что-то хорошее, что ты уже имеешь, и убеждать себя, что это именно и есть то, что нужно. Сделал какую-то работу, тебя похвалили, вот ты и доволен: видите, нас даже похвалили.

Нет, очевидно, важно не только это. Важно и другое: а то ли ты делаешь, что нужно? И если то, в полную ли силу ты это делаешь, все ли отдаешь, что у тебя есть?

На фронте, например, Николай знал, что он делает самое нужное и отдает все, что у него было. И задача была ясна. Она была крохотная и в то же время громадная. Он получал приказ захватить «языка». Это бывало очень трудно, иногда просто невозможно. В Сталинграде он целый месяц не мог достать «языка» и взял его с величайшими трудами только к концу месяца. Задача была захватить «языка», его задача была разведать нейтральную полосу, обнаружить минные поля, определить, сколько у немцев пулеметов – тяжелых и легких. И его цель была – изгнать немцев из России, Украины, Белоруссии, уничтожить фашизм. И он это делал. Один из многих миллионов, таких же как он, людей, сидящих в окопах, работающих в Сибири на заводе, взрывающих поезда в тылу у противника. Он это делал и сделал.

Но это фронт. А до фронта? До фронта у него тоже была своя задача. Не такая большая и важная, как на войне, но была. Он любил спорт и знал, что в этой области может неплохо работать. На втором курсе он завоевал уже второе место на городских соревнованиях и мечтал о первом. Сам Синцов, никогда и никого не хваливший, одобрил его прыжки с шестом...

А сейчас? Что должен делать он сейчас? В каком деле он может принести настоящую пользу, отдать себя целиком, как делал это на фронте? Ведь товарищи его, оставшиеся там, делаю самое нужное сейчас, работают для будущего, для той мирной жизни, которая начнется после войны и должна быть еще лучше, чем довоенная. Что же делать ему сейчас?

О спорте можно уже не думать. Сделаешь два-три самых легких упражнения на перекладине и минут пять потом не можешь отдышаться. Врачи, правда, говорили, что раньше чем через год можно и не мечтать о перекладине, а он вот работает, и, говорят, даже неплохо. А разве в руке дело? Не в руке – в сердце, а оно-то уже не прежнее. Значит, точка. Примирись.

РЖУ? Вот где, казалось, можно было поработать, пользу принести. Город разрушен, людям жить негде, – помогай им, что может быть лучше? Но не вышло. Подготовки не хватило, знаний, черт бы их побрал! А без них и не суйся – в два счета блин сделают. Опять осечка...

Школа?

Вот это сложный вопрос. Когда тебя спрашивают, доволен ли ты своей новой работой, ты всегда отвечаешь: «Доволен. Ребята мировые. Веселые, азартные. И сдружились мы крепко». Ну, а если сам себя спросишь? Вот так вот, честно, положи руку на сердце, – доволен?

Алексей смеется, говорит: «Все тот же «самолет». Нет, не «самолет». Не прав Алексей. Не в воспоминаниях, не в разведчиках дело – хотя, может быть, немного и это есть, – нет, дело тут посложнее. Школа не райжилуправление, это правда. Здесь мило, весело, ребята хорошие, и директор тебе обрадовался: все-таки пришел фронтовик, член партии, а в школе почти все преподаватели беспартийные. А что толку, оказалось? Сидишь на педсовете и чувствуешь себя, как в первый раз у Острогорских. Любите ли вы Андрея Болконского, Николая Ростова? А ты впервые о них слышишь. Может, и проходили когда-нибудь в школе, да разве все запомнишь?

И вообще, какой ты, к черту, педагог? Учишь ребят гимнастике, а сам думаешь: вот этого ты уже не сделаешь, и этого тоже. Повел как-то раз ребят поглядеть на соревнования и еле до конца досидел, обидно стало... Двадцать пять лет человеку, а что впереди? Топчись на одном месте и радуйся, что хоть что-то от прежнего осталось. И так всю жизнь? Как старик певец какой-нибудь отпел свое, вот и принимайся за молодежь. Но тот хоть пел раньше хорошо, а ты?

Нет, не то все это... Не то.

– 5 –

В конце апреля Шура уехала в Харьков. Поехала их целая бригада – человек пять инженеров и две чертежницы: предстояла какая-то срочная работа на восстанавливаемом тракторном заводе, которую надо было выполнить на месте. Предполагалось, что к празднику они вернуться, но, как это всегда бывает, что-то не утвердили, что-то надо было еще переделывать, и только восьмого вечером пришла от Шуры телеграмма, что она приедет девятого вечером поездом.

Николай, как и все в эти дни, ходил возбужденный и радостный. По городу распространился слух, что подписан мир. У громкоговорителей стояли толпы, во всех очередях говорили только об одном – о мире, кто-то даже сам слышал по радио, что он где-то уже подписан. Но официальных сообщений не было. Репродукторы передавали легкую музыку, беседу о лауреатах, оперу «Иван Сусанин» из Большого театра.

Восьмого вечером Николай вернулся домой поздно – педагогический совет затянулся и кончился только в начале одиннадцатого, Николай окинул взглядом комнату, подумав без особой радости, что к Шуриному приезду надо будет ее прибрать, и, не ужиная – лень возиться, завтра позавтракаю, – лег спать. Алексей уже храпел на своем балконе.

Посреди ночи Николай проснулся от того, что его кто-то тряс за плечо.

– Подъем! Подъем!

Спросонья стал шарить вокруг себя, ища спички.

– Подъем! Подъем! – с веселой настойчивостью повторял над ним все тот же голос, голос Ромки Видкупа. – И как у вас тут свет зажечь, черт вас забери?

Николай наконец нашел спички, чиркнул, зажег коптилку. Посреди комнаты стоял

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Ромка – рыжий, веснучатый, сияющий.

– Выходи строиться! Живо!

Николай и Алексей, ничего не понимая, сидели на своих тюфяках, хлопали глазами.

– Война кончилась! Понимаете – кончилась! Кончилась, кончилась, кончилась...

Четвертый час ночи. На дворе еще темно.

Прошел дождик – теплый, весенний, оставив на тротуарах под деревьями светлые серые круги. С мокрых каштанов еще каплет. Точно на глазах распустились их зеленые гусиные лапки. Вчера еще были почками, а сегодня уже стали листьями. В воздухе пахнет свежим – опрыснутой дождем землей, молоденькой зеленой травкой.

Они идут по улице, прямо по мостовой, по трамвайным путям, куда глаза глядят.

Откуда-то – то ли из раскрытого окна, то ли из далекого уличного репродуктора – доносится голос Левитана. Где-то поют. Нестройно, вразнобой, стараясь друг друга перекричать: «Ой, Днипро, Днипро, ты силен, могуч...»

Сквозь молоденькую зелень сада виден университет – большой, печальный, с дырявыми закопченными окнами, облупившимися колоннами. Ему грустно. Всем весело, а ему грустно. Ничего, старина, скоро и за тебя примутся. Не грусти! Смотри, как хорошо разрослись вокруг тебя каштаны – уже касаются друг друга своими ветками, а ведь до войны совсем малютками были.

Взвилась ракета. Осветила улицу, сад, колонны сожженного здания и погасла. Метнулся по небу луч прожектора. Раз-два, туда-сюда, расширился, сузился и тоже погас. Каждому хочется как-то отметить сегодняшний день.

Молоденький безбровый милиционер в белой гимнастерке стоит на углу, скучает. Ему, бедняжке, тоже, вероятно, до смерти хочется вот так вот пройти по улице, в обнимку, по мостовой, петь песни.

– С праздничком тебя, старший сержант, с победой!

– И вас также, – и улыбается.

Визжа тормозами, подкатил «виллис».

– Как к вокзалу проехать, друг?

– Прямо, потом налево, до бульвара, а дальше увидите.

– Ну, спасибо. И за твое здоровье по маленькой выпьем...

Опять улыбается. Ничего другого ему не остается.

Пошли дальше...

Восток уже порозовел. На небе четко рисуется уступчатая колокольня Софии. Повезло тебе, очень повезло. Пережила войну, и какую! Не тронули тебя. Не успели – убежали. Дай бог тебе столько же еще стоять, сколько ты простояла. И еще столько же.

Пошли, пошли дальше... Пошли к Андреевской. Смотри, как хороша она сейчас, стройная, легкая, с тоненькими своими колоколенками. И почему мы, дураки, не приходили сюда по утрам, именно по утрам, когда она так красива на золотистом утреннем небе? Теперь мы всегда будем приходить сюда по утрам, обязательно по утрам...

Как гулко звенят твои чугунные ступени! Как хорошо стоять возле тебя, облокотившись о парапет, и смотреть на Днепр – широкий, разлившийся до самого горизонта. Он сейчас совсем розовый, как и небо на востоке. Только там, у Никольской слободы, осталось еще немного синего и фиолетового. Тихо-тихо кругом...

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
И даже не верится, что были другие утра. С таким же прозрачным, как сейчас, небом, с капельками росы на траве и первыми появлявшимися в воздухе самолетами. А потом всходило солнце и начинался страшный, насквозь пронизанный ревом моторов и разрывами бомб, нескончаемый, мучительно длинный день.

Тяжелые дни войны. Тяжелые, ох, какие тяжелые... Июнь, июль сорок первого года. Немецкие листовки – «Сдавайтесь! Вы окружены! Штык в землю!» Горящие села, горящие города, осыпающиеся хлеба – какие хлеба! – ползущие в них, обросшие бородами люди, прошедшие уже сотни километров, чтоб прорваться к своим... Сентябрь, октябрь. Страшная сводка Информбюро, когда бои шли уже на самых подступах к Москве: «Положение угрожающее...» Казалось, еще шаг, еще один только шаг... И вдруг... Брошенные в снег машины, подбитые танки, первые пленные – замерзшие, закутанные в одеяла. «Зимний фриц...» И в эти дни парад на Красной площади, в нескольких десятках километров от передовой. И потом прямо с парада – на фронт. Мимо Василия Блаженного, по набережной, через Бородинский мост, на Можайское шоссе.

«Не так страшен черт, как его малюют», – сказал тогда Сталин.

Он стоял на Мавзолее в хмурый ноябрьский день, и перед ним проходили войска – пехота, танки, артиллерия, – войска, пришедшие с фронта и уходившие на фронт.

Кто знает, может, это были самые счастливые минуты за все время войны. Значит, умеем еще воевать! Умеем, черт возьми!

А потом Сталинград, Курская дуга, Польша, Германия, Берлин...

И вот – все!

Странное чувство. Вот так до войны никак нельзя было себе представить: а как же это будет, когда она начнется? Так и сейчас. Все, чем люди жили все эти годы – страшное, тяжелое и ставшее в этой тяжести чем-то даже привычным, – кончилось.

В Сталинграде было не так. Там тоже было странное чувство: только что ты еще стрелял, согнувшись, перебежал по окопам, с опаской поглядывал на небо – и вдруг конец! Тишина. Непонятная, незнакомая тишина. Только какой-нибудь веселый сержант, не зная, куда девать патроны, пустит в воздух очередь из автомата.

Но там было другое. Там ты, после пяти месяцев войны оказался вдруг в тылу. Но фронт еще был. Далеко, за десятки километров, но был. И ты знал, что еще попадешь туда. А сейчас его нет. Совсем нет. Возьмешь завтра газету, согласишься в то место, где была сводка Информбюро, а вместо нее уже про комбайнеров пишут.

И все-таки война кончилась. Кончилась в Берлине. Не на Волге, не на Урале, а в Берлине. В том самом Берлине, о котором мечтал каждый солдат. Все мечтали: вот придем в Берлин, разыщем среди развалин имперскую канцелярию, доберемся до Гитлера...

Стало совсем светло. Подул ветерок. Откуда-то появились две девушки, какой-то танкист в шлеме, парень с баяном. Поеживаясь, тихо наигрывает что-то. Что ты стесняешься? Смелей, смелей! Что-нибудь фронтовое. «Землянку» или «Темную ночь». Давай, не стесняйся. «Те-е-емная но-о-очь...»

Как любил эту песню Веточкин, славный, в кубаночке своей набекрень, лейтенант Веточкин. И пел ее хорошо. У него был чистый высокий голос, и бойцы часто просили его спеть что-нибудь. И он пел. Последний раз это было недалеко от Ковеля, в лесу, на лужайке, за день до наступления. Он много пел в тот вечер. А на следующий день он подорвался на противотанковой mine. Никто не мог понять, как это произошло. Нашли только его пилотку и полевую сумку.

Нет его больше. И Кадочкина, замполита Кадочкина тоже нет. В последнем письме, откуда-то уже из Германии, Леля писала, что он погиб во время бомбежки. Похоронили в небольшом разрушенном селе на берегу Одера, недалеко от Франкфурта.

Многих уже нет. Не дожили. Казаков, Трофимов, Майборода, медсестра Наташа, которую, как говорили, даже пуля жалела...

А ты вот жив...

Прозвенел где-то внизу, на Подоле, первый трамвай. Зажегся кое-где уже свет в окнах. Люди собираются на работу. И может, даже не знают, что уже мир.

Лейтенант-танкист разложил на коленях карту, что-то показывает Алексею и Ромке. Должно быть, пройденный путь. Склонили головы, разглядывают.

Николай смотрит на лейтенанта. Немолодой уже, со следами ожогов на руке. Горел, должно быть. Повидал войну.

Николай смотрит на него и думает... Вот встретиться они недели две-три тому назад, и он не то что позавидовал бы лейтенанту, но что-то екнуло бы в груди. Парень, может, из госпиталя выписался, на фронт едет. А Николай уже не поедет, отвоевался.

Но это было бы две-три недели тому назад. А сегодня? Парень вот уже тоже вспоминает войну, карту показывает. Для него война уже кончилась, как и для Николая, как для всех. И скоро он скинет свои погоны и, может быть, так же как и Николай, задумается: а что ж дальше?

Но ему будет легче. Война уже кончилась. Самое главное в нашей жизни уже другое – не война.

И Николаю вдруг от этой мысли стало легко и весело. Именно здесь, в это свежее радостное утро ему вдруг стало ясно, что все то, что его так мучило последнее время, – сознание, что ты делаешь не самое важное, не самое нужное, что ты – пусть не по своей вине, но отстранился от самого важного и нужного, – что этого больше нет.

– 6 –

Как-то, укладывая в чемоданчик Николая завтрак, Шура обнаружила на дне его серенькую тоненькую книжицу – программу для поступающих в средние и высшие учебные заведения.

– Это что, твое? – удивилась она.

– Мое, – ответил Николай.

– Зачем?

– Да так. Решил посмотреть.

Ответ был по меньшей мере уклончивый, но в тот же вечер Шура, при содействии, правда, Алексея, добилась более ясного.

Да, Николай решил попробовать силы. Дело, конечно, не легкое, – за каких-нибудь два с половиной месяца надо подготовиться и по математике (в объеме десяти классов!), и по русскому, и по истории СССР, и по иностранному языку, – но в конце концов у него скоро начнутся каникулы, и почему бы не попробовать...

Встал вопрос – куда?

Шура считала самым подходящим геолого-разведочный («был на войне разведчиком, вот и сейчас им будешь»), но Алексей запротестовал:

– Только в строительный. Строительный – и никаких разговоров.

Во-первых, строители сейчас очень нужны, во-вторых (тут Алексей подмигивал Шуре), окончив институт, Николай сможет вернуться в свое РЖУ («будешь уже знать, какая балка гнилая, а какая нет»), а в-третьих, и в самых важных, в начале будущего месяца Алексея демобилизуют (это почти факт), а в институте он уже договорился относительно места декана факультета ПГС (промышленно-гражданского строительства), – иными словами, протекция обеспечена.

Какой именно из этих аргументов подействовал на Николая, трудно сказать. Возможно, что все три, а может, и еще какие-нибудь. Много времени спустя Николай в шутку говорил, что поступил в строительный институт просто потому, что ему была знакома туда дорога. А может, и не только дорога, бог его знает... Так или



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru иначе, по этим или другим причинам, но выбран был именно строительный институт.

Экзамены должны были быть в августе. Николай сел за книги.

Сергей, глядя на него, только посмеивался.

– Учишься? Ну, учись, учись, авось и в академики выберешься. Возьмешь меня тогда к себе шофером, а?

Николай отмалчивался.

Не одобрил Николая и Яшка. Встретились они как-то на улице. Яшка ехал на своем «студебеккере» и, увидев переходившего улицу Николая, заорал во всю глотку:

– Э-э, капитан!

Николай обернулся. Яшка круто подрулил к тротуару.

– Куда ж ты провалился, друг, а?

Николай посмотрел в сторону.

– Да так как-то все... Работы много, и вообще... – он повернул ручку дверцы. – В институт вот надумал поступать.

– Уговорили-таки? – Яшка иронически улыбнулся. – Ну, а друзей почему забыл?

– Что поделаешь, женатый человек! А жены, знаешь, теперь какие – никуда не пускают.

Яшка раскрыл рот.

– Постой, постой! Какая еще жена?

– Обыкновенная, довоенная.

– Нашел, что ли?

– Нашел.

Яшка протяжно свистнул.

– Вот это да, – почесал свою лохматую голову. – А ведь такая парочка была, такая парочка...

Он стал рассказывать о шестнадцатой квартире. Анна Пантелеймоновна все еще болеет. Два раза было воспаление легких. Совсем сдала старуха, а ведь какая бойкая была. Зашел бы все-таки, навестил. Неловко как-то получается. Бэлочка в этом месяце, вероятно, родит. Муня работает как вол, – на пеленки зарабатывает. Старики Ковровы как всегда. У Валерьяна Сергеевича опять кабак в комнате, еще одну кошку завел. Сам Яшка работает все там же, в «Союзтрансе».

– Напрасно ты тогда не согласился. Давали бы дрозда на пару. Жить все-таки можно. Надоест учиться – приходи, всегда устрою.

На этом разговор кончился: подошел милиционер и велел Яшке следовать дальше, если он не хочет уплатить штраф.

– Есть, товарищ начальник! – весело козырнул Яшка и помахал Николаю рукой. – А зайти все-таки надо. Нехорошо друзей забывать, ей-богу нехорошо!

– Зайду, обязательно зайду! – крикнул вдогонку Николай.

Но прошел июнь, июль, а он так и не зашел.

– 7 –

Всю ночь с тридцать первого июля на первое августа Николай не спал. В голову лезли какие-то формулы, длинная фраза из диктанта: «Большая, без единого

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
деревца и кустика, освещенная красным, лишенным лучей солнцем, выжженная, сухая степь казалась сейчас вымершей и пустынной на всем своем протяжении с севера на юг, от того места, где стоял офицер, до крохотного, почти незаметного курганчика на горизонте».

Проклятая фраза! Николай сделал в ней десять ошибок и надолго запомнил эту идиотскую степь с курганчиком, солнцем и офицером... Потом вспомнилось почему-то, что три года тому назад, в эту самую ночь, с июля на август, он лежал где-то в степи, под Сталинградом. Лежал вот так же, как и сейчас, закинув руки за голову, смотрел на крупные немигающие звезды и думал о том, что творится сейчас на правом берегу Дона, у Калача, и что ожидает его с товарищами в Сталинграде.

И вот прошло три года, ровно три года, и он так же лежит и опять никак не может заснуть. И отчего? Оттого, что завтра долговязый желтолицый математик будет спрашивать его, что такое бином Ньютона или еще что-нибудь похуже. Смешно. Ей-богу, смешно...

В семь он уже был на ногах. Есть не хотелось – выпил стакан чаю, с трудом впихнул в себя кусок хлеба с колбасой. Шура пожелала «ни пуха ни пера», велела обязательно позвонить после экзамена к ней на работу. Он сказал, что непременно позвонит, чмокнул ее в лоб и ушел задолго до назначенного часа.

К двенадцати часам он был уже свободен. Ему повезло. Желтолицый математик оказался вовсе не таким несимпатичным, как показалось вначале. Прежде чем дать пример, он спросил Николая, не родственник ли ему известный академик Митясов, Сергей Гаврилович (вопрос этот вызвал неожиданное веселье у экзаменующихся), а после того как Николай с грехом пополам решил пример, подмигнул и сказал:

– Ну как, на фронте легче?

В письменной Николаю помог его сосед, молоденький паренек с торчащими ежиком волосами: сунул шпартгалку с решением не получавшейся у Николая задачи.

По телефону Николай сообщил шуре:

– Все в порядке. Трочка обеспечена.

Привычным жестом проверив, не выскочил ли обратно пятиалтынный из автомата, он направился к выходу. В дверях его задержал паренек с торчащими ежиком волосами. Спросил, не знает ли он, где можно пообедать подешевле: он, мол, приезжий и ничего еще здесь не знает. Николай хотел ему сказать, что лучше всего в университетской столовой, что там даже пиво есть и не грех после экзамена пропустить по кружечке, но сказать это ему так и не удалось, – из профессорской вышла Валя.

Она вышла с каким-то низеньким, очень толстым, лысым человеком – очевидно, тоже педагогом, – держа в руках большой лист бумаги и о чем-то оживленно с ним разговаривая. На ней была обычная ее, только еще более выцветшая гимнастерка и полевая сумка через плечо.

Парень с ежиком продолжал что-то говорить, но Николай не слышал его. Он прошел через вестибюль и остановился возле профессорской. Валя стояла к нему спиной. Потом обернулась. И тут Николай, совсем неожиданно для самого себя, сказал:

– Здравствуй, Валя!

Лысый толстяк обернулся.

– Одну минуту! Неужели нельзя подождать одну минуту? Видите, мы заняты.

Валя спокойно, слишком даже спокойно, как показалось Николаю, посмотрела на него и сказала:

– Сейчас я кончу. Подожди.

Толстый и Валя еще минут пять говорили о каком-то расписании: толстый говорил, что ему что-то неудобно в четверг, а что-то в пятницу, в конце концов выхватил у Вали из рук лист и с неожиданной быстротой побежал вверх по лестнице.

– Я сейчас, – сказала Валя Николаю и опять зашла в профессорскую.

Она похудела, осунулась, еще больше стала похожа на Анну Пантелеймоновну. Он не видел ее десять месяцев. И как спокойно она на него смотрела! Как на любого другого студента. Как будто они виделись только вчера и между ними ничего не произошло. Но как бы там ни было, хочет этого Валя или нет он пойдет сейчас к ней, пойдет к Анне Пантелеймоновне а если ее сейчас нет, она на работе, придет к ней вечером Он не будет придумывать никаких предлогов, он скажет Анне Пантелеймоновне все как есть. В конце концов, последний разговор у него был именно с ней, и никто, кроме нее, не поймет его по-настоящему, – не поймет, как трудно после такого разговора приходиться...

Валя вышла из профессорской и, кивнув Николаю, быстро пошла к выходу.

– Ты домой? – спросил Николай.

– Домой.

– Я с тобой пойду. Можно?

Валя ничего не ответила. Они прошли несколько шагов молча. Да, она похудела, под глазами появились синяки. Неужели она не отдыхала все лето? Рядом с загорелым, обветренным в своих школьных походах Николаем она казалась неестественно, болезненно бледной.

– Анна Пантелеймоновна сейчас дома или в библиотеке? – спросил Николай.

Валя, не поворачивая головы, сказала:

– В позапрошлом воскресенье мама умерла.

Николай остановился.

– Сердце не выдержало, – сказала Валя.

Они шли через пустырь, по которому столько раз ходили. Невдалеке от них группа саперов привязывала веревку к высокой одинокой стене, которую, очевидно, собирались валить. Один из них сидел на самом верху, – бог его знает, как он туда забрался. Николай и Валя сели на груды кирпичей. Со стороны могло показаться, что они с интересом следят за этим сапером.

– За два часа до смерти мама говорила о тебе. Она ни на минуту не теряла сознания... Она лежала лицом к окну и за два часа до смерти сказала: «Все-таки как хорошо Коля полки починил, того пятна совсем не видно». Знаешь, какого? Которое выглядывало из-за той полки с толстыми журналами. Потом она сказала, тоже про тебя: «Так и не прочел „Обломова“. А я все забываю вернуть. Напомнишь мне, когда я на работу пойду». А через два часа она умерла.

Умерла... Какая она была тогда маленькая на этом большом удобном диване! Он предложил ей зажечь коптилку. Она отказалась. «Не надо, Коля, я и так полежу». Он удивился – это было так не похоже на нее. Он вспомнил ее глаза: в тот вечер они не были веселыми, они были серьезны, непривычно серьезны и какие-то смущенно-извиняющиеся. «На войне многое очень просто. Я знаю. Но это страшная простота. Не надо ее...» Николай на всю жизнь запомнил эти слова, эти глаза. Она положила ему тогда на колено руку, маленькую худую руку, и ему хотелось поцеловать эту руку, руку человека, прожившего долгую, хорошую и такую тяжелую жизнь.

...К ним подошел очень молоденький румяный лейтенантик в кокетливо сдвинутой на левое ухо пилотке и, козырнув, сказал:

– Придется вас попросить. Сейчас рушить будем. – Он улыбнулся, сверкнув зубами.  
– Оттуда, с улицы, даже лучше видно будет.

Он не сомневался, что Валу и Николаю больше всего интересует сейчас, как будет рушиться его стена.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
– Филонов, погоди! – звонко крикнул он и побежал в сторону своих саперов.

Валя и Николай встали и, миновав стену, начали спускаться с горы.

Николай видел много смертей. Он видел, как убивали юношей, почти мальчиков, самых дорогих ему людей. Но сейчас, когда ему сказали, что умерла немолодая женщина, которую он знал всего каких-нибудь три-четыре месяца, он почувствовал такой прилив горя, что, не подойди к ним лейтенант, он, может быть, даже заплакал бы. Возможно, в Анне Пантелеймоновне он почувствовал то, чего он не знал в своей жизни – любовь старого человека, любовь матери.

Он проводил Валу до самого дома. Дальше он не пошел, ему не хотелось никого сейчас видеть – ни Валерьяна Сергеевича, ни Ковровых, ни Яшку, ни Муню с Бэлочкой.

– Так ты, значит, в наш институт поступаешь? – спросила Валя.

– Да, – ответил Николай.

– Ну что ж, пожалуй, это самое правильное.

Она протянула руку – он крепко ее пожал, – повернулась и вошла в подъезд.

– 8 –

Валя еще долго стояла на лестнице. Поднялась на самый верхний этаж и, облокотясь на подоконник, смотрела на улицу. Когда Валя была маленькой, она тоже приходила сюда. Тогда стекла в окне были разноцветными – красными, зелеными, желтыми, и очень забавно было сквозь них смотреть на город. Сейчас стекла были обыкновенными, грязными и немывыми, но Валя по-прежнему сюда приходила, если хотелось побыть одной.

Когда она услышала голос Николая, его «Здравствуй, Валя», ей показалось, что сейчас обрушится потолок или провалится пол. Что она ему ответила и ответила ли вообще? Кажется, ответил Игнатий Петрович. Потом она еще долго говорила с Игнатием Петровичем и все время чувствовала Николая за своей спиной, даже слышала, как он чиркал спичками. О чем она говорила, что ей отвечал Игнатий Петрович, она не помнит. Потом эти проводы домой, сидение в развалинах...

У Вали странно сложилась жизнь. До двадцати лет она училась. В двадцать лет попала в армию. У многих в этом возрасте уже муж, дети. У Вали не было ни мужа, ни детей. Она вбила себе в голову, что семья – это конец свободной жизни, и хотя мужское общество всегда предпочитала женскому, но это главным образом потому, что она считала себя скорей «мальчишкой», чем «девчонкой».

В армии не все разделяли эту точку зрения, что, безусловно, осложнило и без того не слишком легкую жизнь сержанта 34-го зенитного полка. Но Валя была девушкой сильной, и кое-кто из веселых лейтенантов почувствовал это на собственной шкуре, хотя об одном из них, о Толе Калашникове, командире артвзвода противотанкового дивизиона, никак нельзя сказать, чтоб он был так уж противен Вале. Но что поделаешь, фронт остается фронтом, другого выхода у нее не было. В полку скоро свыклись с мыслью, что она «парень» и что держаться от нее надо подальше.

Когда в шестнадцатой квартире появился Николай Митясов, Валя подумала: «Ну, этот тоже...», и в силу сложившейся за годы войны привычки сразу заняла активно-оборонительную позицию. Но Николай приходил, пил чай, рассматривал книги. Потом начались уроки английского языка, вечерние проводы... Николай одинок – Валя понимала это. У него в жизни что-то не получилось. Но и у нее-то самой после фронта тоже не было настоящих друзей. Любимая мать, хорошие соседи, институт? Нет, очевидно, в двадцать четыре года этого мало.

Потом Николай исчез. Это было настолько неожиданно, что Валя сначала подумала, не произошло ли какое-нибудь недоразумение. В ее голове никак не укладывалось, что человек, в которого она поверила, который за каких-нибудь два-три месяца стал членом их семьи, человек, с которым ей было так легко и просто, который понимал ее с полуслова и которого – чего уж тут скрывать! – которого она полюбила, – она не могла поверить, чтобы он мог вот так вот просто повернуться и уйти. Но он ушел.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Когда мать ей обо всем рассказала, она чуть только пожала плечами. Они ни разу потом об этом не говорили. Анна Пантелеймоновна часто заговаривала о Николае – она любила его. Валя слушала, но не отвечала ни слова.

Мать и дочь любили друг друга. И вот одной из них нет. Пустая комната, пустое сердце.

Валя стоит, облокотясь о холодный каменный подоконник, и смотрит, как галки вьются вокруг старого сухого тополя. Когда-то он тоже был зеленым, и рядом с ним стоял другой. При немцах его срубили.

Завтра она опять пойдет в институт, и опять увидит Николая, и опять будет с ним разговаривать, и опять не сможет ему сказать, чтобы он не провожал ее домой.

– 9 –

В этот день Шура ушла с работы на час раньше. Ей захотелось отметить чем-нибудь первый Колин экзамен – купить вина, чего-нибудь сладкого. Но магазины закрывались в шесть, – тогда же, когда и Шурина контора, – поэтому, придумав какой-то предлог, Шура пошла к Беленькому. Против ожидания, Беленький – неисправимый формалист и педант – сразу же согласился, сказав, правда, что отпускает ее только в порядке исключения и только потому, что последние дни Шура много работает по вечерам.

Шура купила полбутылки портвейна, кекса с изюмом – единственная сладость, которую признавал Николай, – а на последние десять рублей два билета в кино на семичасовой сеанс. В шесть она была уже дома.

Николай лежал на кровати и смотрел в потолок.

– Я достала два билета в кино, – сказала Шура, – на «Крейсер «Варяг».

Николай рассеянно взглянул на нее и сказал, что в кино не пойдет: картину он эту видел, и она неинтересная. Где он мог ее видеть, было не совсем ясно, она только что вышла на экраны. Но потом выяснилось, что у него просто нет настроения, что он узнал о смерти близкого ему человека, Анны Пантелеймоновны: «Я тебе говорил о ней, наша госпитальная библиотечка», и, чтоб не портить Шуре настроения, выйдет немножко прогуляться один.

Шура молча все выслушала. Не разворачивая покупки, положила в буфет, пошла на кухню, разогрела обед. Потом в одиночестве пообедала: Николай отказался – у него не было аппетита, – вымыла посуду.

По радио передавали музыку украинских композиторов. Козловский и еще кто-то, Шура не расслышала фамилии, пели любимый ее дуэт Лысенко – «Колы розлучаются двое». Николай попросил выключить или хотя бы сделать тише. Шура выключила репродуктор и вдруг расплакалась.

Николай удивленно на нее посмотрел.

– Ничего, ничего, – сквозь слезы сказала Шура. – Просто я очень люблю эту вещь.

– Тогда включи. Я не знал, что ты ее любишь. Включи, ради бога.

– Не надо, – сказала Шура.

Николай встал, вышел на балкон, постоял там, выкурил папиросу.

«Сейчас вернется и начнет искать свой ремень», – подумала Шура.

Николай действительно вскоре вошел в комнату и, застегивая воротник, взглянул на стул, куда он обычно вешал ремень. Его там не было.

– Ты не видела моего ремня, Шура?

Шура подала пояс, он упал под стул.

– Ты к Вале? – спросила она.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
– К Вале, – ответил Николай. – Надо зайти все-таки. Ей сейчас, вероятно, очень одиноко.

Он стоял возле дверей, застегивая ремень и старательно расправляя складки. Несколько раз провел большим пальцем под ремнем, хотя все складки были уже расправлены.

Шура вышла на балкон.

Напротив, через улицу, строился дом – один из первых новых домов в городе. Шура любила на него смотреть, следить за каменщиками, за тем, как изо дня в день все выше становятся стены. Обычно, глядя на него, Шура гадала, сколько в нем будет этажей. Если четыре – хорошо, он не закроет собой Черепановой горы, если пять – закроет, и не будет уже видно лужайки, где они с Николаем сидели в первый раз.

Сейчас, выйдя на балкон, она увидела, что каменщики начали кладку пятого этажа, и подумала со злостью: «Ну и пусть, пусть будет пять, очень хорошо, пусть...»

То, что семейная жизнь у нее не получилась, Шура поняла не сразу.

Николай был заботлив и внимателен. Он старался помочь ей во всем. Бегал на базар, стоял в очередях за пайком. Когда она приходила по вечерам усталая и, сев на стул, не могла уже с него подняться – работать ей приходилось главным образом стоя, – он всегда убирал со стола, мыл посуду. Соседи умилялись их дружбе, и на кухне, где женщины особенно любят поговорить на житейские семейные темы, Митясовых часто приводили в пример, как надо жить мужу и жене.

Но вскоре Шура поняла, что это не так. Нет, не то, что поняла, это не то слово. Умом, рассудком она пыталась убедить себя, что все идет хорошо. Но это умом, который всегда старается помочь, – старается, но, увы, не всегда удачно. А вот тут, где-то внутри, каким-то чутьем Шура понимала, что вовсе не так уж все и хорошо. Скованность, появившаяся еще при первой их встрече, когда они говорили о чем угодно, только не о том, что нужно было обоим, – эта скованность, как появилась тогда, так и осталась. Николай заботлив и вежлив, это верно. Даже слишком. До войны он был куда менее заботлив. Он не умел по-настоящему «ухаживать», ходил в кино на ее деньги, что было нарушением всех традиций, прибегал прямо с тренировки в спортивных шароварах и вылинявшей майке, иногда где-то пропадал с ребятами и потом ее же за что-то отчитывал. Теперь он никогда не раздражался, не повышал голоса. Иногда ей просто хотелось, чтобы он рассердился на нее, обиделся, пусть даже накричал, – что угодно, только не это сдержанное внимание, это не нужное благородство человека, любящего тебя только из жалости. Да, он ее любит только из жалости. Когда он пришел, она расплакалась, не выдержала и расплакалась. Вот он ее и пожалел. Несчастливая, одинокая, пережившая оккупацию.

Оккупация... А может... Нет, Шура гнала от себя эту мысль. Не может этого быть! Есть еще, конечно, такие, которые смотрят на всех переживших оккупацию как на людей сомнительных, чуть ли не изменников. Но при чем тут Николай? И как она могла о нем подумать? Нет, нет, нет...

Потом появилось другое. Сначала она гнала и эту мысль, потом все чаще и чаще стала к ней возвращаться. Просто ему с ней скучно. Ему нужна совсем другая жена, не такая, как Шура, ему нужна умная жена, с которой можно поговорить и о том, и о сем, и о всяких там прочитанных книжках. Вот такая, как та самая Валя. Она где-то там что-то преподает, и отец у нее, кажется, каким-то ученым был, и сама она, как и Николай, была на фронте, а не в оккупации (ох ты, господи, опять эта оккупация!), ну и вообще... Она хотела как-то спросить Николая, сколько ей лет, – вероятно, столько же, сколько и Шуре, – но потом не решилась: а вдруг подумает... Нет, просто ему с ней скучно. Она возвращается с работы, а он уже за книгой. Никогда раньше столько не читал. А теперь уткнется в книгу и молчит.

Однажды она пошла на хитрость: купила пол-литра, может, это подействует, развяжет язык. Но, как назло, явился Сергей – у него какое-то чутье на это дело, – и языки у них действительно развязались, но о чем они говорили? О своих солдатах, о всяких там танках, окружениях, Ваньках, Петьках, – как не надоело только!

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Потом появился Алексей. Николай сразу оживился, стал много говорить, смеяться, совсем как до войны. Шура начала ревновать его к Алексею. Даже хотела, чтоб он скорее от них уехал. Но когда он, получив где-то каморку, действительно уехал, пожалела, – Николай опять уткнулся в книги.

Шура принялась старательно читать газеты. По вечерам рассуждала на международные темы и, как ей казалось, вовсе не так уж глупо. Но Николай только рассеянно подымал голову и говорил: «возможно», «право, не знаю», «да», «нет». Если бы то же самое сказал Алексей, он сразу оживился бы, и, кроме этих слов, у него нашлись бы и другие...

Шура стояла на балконе. Она слышала, как Николай все еще ходил по комнате, звеня мелочью в кармане. Потом вышел на балкон, стал за ее спиной.

– У тебя что, неприятности какие-нибудь? – спросил он.

Шура не ответила.

– По службе, что ли?

– Да... по службе...

– Опять твой Беленький?

– Нет, не Беленький.

– А кто же?

Он наклонился над ней, и Шура почувствовала на шее и затылке его дыхание.

– Кто же? Скажи мне.

Шура не выдержала.

– Ах, господи боже мой... Не все ли равно кто. Как будто это тебя интересует!

Николай взял ее обеими руками за голову и повернул к себе лицом.

– Шура, что это значит?

У нее дрожали губы.

– Уходи, – еле слышно сказала она. – Уходи... Уходи к своей Вале... – и опять расплакалась.

Николай несколько секунд стоял, держась рукой за перила, потом резко повернулся и вышел из комнаты.

– 10 –

Экзамены были сданы. Все оказалось совсем не так страшно. Николай получил по всем предметам четверки, а через несколько дней в вывешенном списке обнаружил свою фамилию.

По этому случаю был устроен небольшой пир «в самом тесном кругу друзей». Все держали себя свободно и весело; Ромка Видкуп, забавно перебирая плечами, пел цыганские романсы под гитару; Сергей показывал чудеса жонглирования, разбив всего лишь две бутылки; Алексей прочел «Оду на вступление Николая на учебную стезю».

Назавтра Николай уехал в Черкассы.

За день до того никто об этом даже не думал. План возник случайно, на вечеринке. Оказалось, что у Ромки есть родители – отец и мать, и совсем недалеко, в Черкассах, что до начала занятий осталось больше двух недель и что вообще какого черта, говорил Ромка, околачиваться в городе, когда можно чудесно провести время на Днепре, поправляясь на родительских харчах. Шура и Алексей поддержали его, и на следующий день Николай с Ромкой выехали на старенькой, осипшей «Десне» в

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Черкассы.

За два дня до начала занятий Николай вернулся домой. Шура, увидев его, всплеснула руками.

– Ой! Какой толстый! – в голосе ее чувствовался даже испуг. – Никогда тебя таким не видела.

Николай рассмеялся.

– Картошка, сметана, спокойная жизнь.

– А почему телеграммы не прислал? Я бы тебе пирог с яблоками испекла. Сейчас столько яблок...

Она побежала на кухню, а Николай, посмотрев ей вслед, подумал: «Ну, вот и все в порядке! Веселая, собирается пирог печь».

Весь вечер они провели вместе. Николай рассказывал о полуметровых сазанах, которых они ловили, о старике Кононовиче – Ромкином отце, по вечерам заводившем бесконечные разговоры с Николаем. Шура делилась своими служебными новостями.

Следующий день было воскресенье. Привыкший к реке, Николай вытащил Шуру на пляж, и хотя был конец августа, Шура даже обожглась. Провели они на пляже целый день. Лежали под грибком, немножко поиграли в волейбол. Потом Николай продемонстрировал Шуре прыжки в воду с вышки. Прыгал он хорошо – всякими щучками и ласточками. Шура с удовольствием слушала, как опытные пловцы хвалят ее Николая.

Вернулись последним катером, прошлись по тихому вечернему городу, рано легли спать, усталые от воздуха, солнца, воды, – совсем как в старое доброе время.

На следующий день Николай пошел в институт.

Но, как это всегда бывает, оказалось, что аудитории для первого курса еще не подготовлены и занятия перенесены на завтра, на вторник. Николай списал расписание, потолкался между ребятами в вестибюле. Потом зашел в библиотеку – надо было захватить учебники, пока не поздно.

За столом, у самой стойки, сидела Валя. Наклонившись над книгой, она что-то выписывала из нее в блокнот. Николай прошел мимо (она не подняла головы), попросил нужную ему книгу, полистал ее, потом подошел к Вале. Он не видел ее целый месяц.

– Можешь меня поздравить, Валя, – сказал он негромко, перегнувшись через стойку.

Валя вздрогнула и подняла голову.

– Можешь меня поздравить, – повторил он. – Приняли.

Валя продолжала смотреть на него, повернув голову и прикусив губу. Потом сказала:

– Поздравляю. Я очень рада.

– Я тоже. – Николай почему-то улыбнулся. – Вот я и студент, значит.

– Студент, – повторила за ним Валя и посмотрела куда-то в сторону.

По всему видно было, что она не очень склонна к разговору. Но Николай не отходил. Ему не хотелось уходить. Придвинув ногой стоявший у стойки стул и опершись о него коленом, смотрел на Валю.

– У тебя что, лекция сейчас?

– Да, через пять минут.

Николай помолчал, потом, чувствуя, что пауза затягивается, спросил почему-то о Бэлочке:



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Ну, как Бэлочка? Не родила еще?

– Родила. Двойню.

Он не выдержал и рассмеялся.

– Бедный Муня! И давно?

– Говори тише. Здесь все-таки библиотека.

Николай закрыл ладонью рот, потом вопросительно взглянул на Валю и спросил уже шепотом:

– Вероятно, надо подарить что-нибудь?

– Твое дело.

– Что же?

Валя ничего не ответила. Николай почесал затылок.

– Придется на толкучку сходить.

Он посмотрел на часы – было без пяти двенадцать. Отодвинул стул, выпрямился. Валя кончила писать и всовывала блокнот в полевую сумку.

– Так у тебя, значит, еще лекции? – спросил Николай.

– Да. До трех.

– А после трех?

Валя подняла голову.

– А тебе зачем?

– Просто так... Думал, может, вместе на толкучку ходим. Я ведь в этих вещах не очень...

– А я, по-твоему, очень? – Она чуть-чуть улыбнулась, и Николаю сразу стало хорошо, он не видел этой улыбки почти год.

В коридоре задребезжал звонок. Валя перекинула сумку через плечо и сказала:

– Прости, мне надо идти.

Николай до трех часов бродил по городу. Прошелся по садам вдоль Днепра, затем, от нечего делать, зашел на выставку проектов реконструкции города. Ему было весело и хотелось разговаривать. По выставке ходил недовольного вида старик с серебристой бородкой. Николай почему-то решил, что он художник, и завел с ним разговор. Старик оказался не художником, а капельдинером оперного театра, тем не менее критиковал проекты с апломбом старожила и знатока.

– Ну чего это они все придумывают? Удивить хотят. Строили бы, как оно было, и никто б их не ругал. Разве плохо было? Я вас спрашиваю: разве плохо?

Николай говорил, что не плохо, но сейчас все-таки другое время, и если уж строить заново, так зачем же строить так, как при царе Николае.

Старик качал головой.

– А зачем эти шпили? Не понимаю. Дом должен быть домом с окнами, крышей, честь честью. А они шпили какие-то.

Старик был рад собеседнику и попытался даже перейти с архитектуры на театр, но Николай понял, что это небезопасно, к тому же было уже без четверти три, и, распростившись со стариком, побежал за Валей.

Толкучка отняла у них часа полтора. Несмотря на поздний час, народу было так много, что к концу своего похода Николай с Валею чувствовали себя так, будто их полтора часа молотили цепями. Они долго стояли перед детской коляской на рессорах и резиновых шинах, но она была не по карману, и пришлось, уговорив себя, что младенцы все равно в ней не поместятся, ограничиться покупкой двух чепчиков.

Чепчики были бумазейные – в общем очень некрасивые, с какими-то голубыми бантиками неизвестно для чего, – но молодые родители пришли в восторг. Бэлочка утверждала, что чепчики очень даже к лицу младенцам. Николай, хотя никак и не мог понять, о каких лицах может быть речь, тоже соглашался и говорил, что очень мило. Муня держал обоих близнецов на руках и смотрел такими счастливо умоляющими глазами, что не хвалить Аркадия и Ларису было бы просто бесчеловечно. И Николай хвалил, и Валя тоже хвалила, и Бэлочка сияла, а Муня просил разрешения распеленать их, чтобы показать, какие у них аппетитные спинки и животики.

Потом пришел Яшка Бортник и стал совать им в рот папиросы. Муня пытался оттащить, Яшка хохотал. Тогда Бэлочка сказала, что она будет сейчас кормить, и все ушли.

Валя отправилась на кухню что-то готовить. Николай зашел к ней в комнату и с детской радостью начал рассматривать знакомые предметы – разбитое пресс-папье, под которым лежали квитанции за квартиру, куски кварца и горного хрусталя. Под чернильницу была засунута старая концертная программа.

Николай вспомнил этот концерт. Анна Пантелеймоновна с Валею заставили его как-то пойти вместе с ними послушать музыку.

– Слух у вас есть, а музыки вы не знаете, – сказала тогда Анна Пантелеймоновна. – Надо приучать себя к хорошей музыке. Идите на кухню почистите сапоги.

Он пошел на кухню, почистил сапоги, а потом битых три часа сидел и слушал какой-то Бранденбургский концерт и еще какие-то классические вещи. В одном месте он, кажется, даже всхрипнул, но ни Валя, ни Анна Пантелеймоновна, к счастью, не заметили.

Обе они были в восторге, – восхищались дирижером, бледным длинноруким человеком во фраке, страшно вспотевшим к концу вечера. Николай говорил, что ему тоже понравилось, но когда ему предложили через неделю пойти опять, он под каким-то предлогом уклонился: музыку он любил, но предпочитал все-таки ансамбль Александрова.

– Ладно, ладно, – говорила Анна Пантелеймоновна, не унимаясь. – Вот приедет Нейгауз, попробуйте тогда у меня отвертеться...

Николай засунул программу опять под чернильницу. Бедная Анна Пантелеймоновна! Так и не дождалась она своего Нейгауза.

В комнату вошла Валя и стала накрывать на стол. Постелила скатерть, расставила тарелочки точно так, как это делалось при Анне Пантелеймоновне, и то, что это было сделано именно Валею, которая этого никогда раньше не делала, особенно как-то тронуло Николая. Вообще Валя держалась спокойно. О матери говорила мало, а когда говорила, то просто и сдержанно. Незнакомый человек мог бы даже подумать, что мать умерла не месяц тому назад, а по крайней мере год. Но в каких-то мелочах – в еловой веточке над последним портретом Анны Пантелеймоновны, снятым перед самой войной, в приколотых булавкой к спинке дивана часах, которые всегда вешала туда Анна Пантелеймоновна, когда ложилась спать, – в этой скатерти и тарелочках чувствовалась вся любовь и большое, Настоящее горе дочери.

Она сказала Николаю:

– Ты знаешь, я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что мамы нет. Вчера, например, в восемь часов пошла на кухню чайник ставить, чтоб к половине девятого успел закипеть. Ведь мать обычно к половине девятого приходила.

Николай чувствовал себя почему-то виноватым. Весь сегодняшний день ему было

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru как-то особенно радостно и хорошо, и именно поэтому, сидя в комнате, где все напоминало Анну Пантелеймоновну, он никак не мог отделаться от ощущения, что он держит себя не так, как надо, что у него глупо-счастливое лицо и что Валя это видит и ей это неприятно. И все-таки ему было хорошо.

Вернувшись к себе, Николай сказал Шуре, что у него было шесть лекций, потом собрание, что он очень устал, ужинать не будет – он перекусил там с ребятами – и сразу же лег спать.

Это был первый случай, когда Николай солгал Шуре. Первый и последний.

– 11 –

Сергей Ерошик больше всего в жизни ненавидел свою службу в Осоавиахиме. Он был, что называется, широкой натурой. Если гулять, так уж так, чтоб чертям тошно было, – с музыкой, песнями, танцами; если работать, так уж работать по-молодецки, с присвистом, чтоб пальцами на тебя указывали: вот, мол, он какой.

О том, что он станет летчиком, Сергей мечтал чуть ли не с семилетнего возраста. Мастерил какие-то модели, вырезал из книг и наклеивал в тетрадку фотографии самолетов и знаменитых летчиков, с одним из них даже познакомился, правда, не знаменитым и не военным, а гражданским, что было, конечно, не то, но знакомством этим горд был невероятно. Увлечение это кончилось тем, что, не закончив десятилетки, он поступил в школу мотористов, а перед самой войной – в летное училище.

Занимался он хорошо, с увлечением, но образцом дисциплины не был никогда. Еще в училище занимал далеко не последнее место по количеству часов, проведенных на гауптвахте, а в полку чаще других имел не слишком уютные беседы с замполитом. Зато если уж речь заходила о воздушных боях, то чаще и больше всего говорили о паре Шелест – Ерошик. Дрались они оба действительно хорошо. Шелест спокойнее, увереннее. Сергей азартно, отчаянно, и, может, именно поэтому прибывшая из училищ желторотая молодежь не сводила с него влюбленных глаз: «Вот это пилотяга так пилотяга!» Сергей снисходительно улыбался и, рискуя быть опять приглашенным на беседу к замполиту, выкамаривал в небе черт знает что – воевать, так с шиком! Молодежь, не имея возможности походить на него в бою, подбрасывала на его манер затылки, ходила слегка вразвалочку, сдвинув шлем на макушку.

Но все это было позади. И это и вольная, хотя и тошная, по правде сказать, «доосоавиахимовская» жизнь с деньгами, гульбой. Сиди теперь на колченогом стуле, смотри в чернильницу, вспоминай о прошлом. И Сергей сидел, курил, швырял окурки под стол и ненавидел этот стол, ненавидел бумаги, отчетность, ненавидел своего начальника, подполковника в отставке, приносившего с собой на службу кефир и курившего махорку только потому, что в ней якобы меньше никотина.

– Мухи дохнут от скуки, как только зайдет. Вот так вот, кверху лапками...

Чего он хотел, Сергей и сам не знал. Но только не этого.

Как-то на футбольном матче он встретил майора Анциферова, помпохоза полка, в котором они вместе служили в сорок первом году. Сейчас Анциферов работал в штабе Округа. Тут же, с матча, зашли в ресторан «Динамо». Сергей стал ругать жизнь, работу, начальника с кефиром, Анциферов пил мало – у него было что-то с почками, – сочувственно и немного смущенно смотрел на Сергея, постукивая ножом о стакан, потом сказал:

– А почему бы мне не свести тебя с капитаном Сененко, а?

– Это что еще за капитан?

– Хороший парень. Начальник аэроклуба. На той неделе встретил – говорит, ему люди нужны.

– Куда? В аэроклуб? Чего я там не видел? Пацанов? «Удвешки»?

Анциферов улыбнулся.

– Все-таки свежий воздух, молодежь...

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
– К чертовой матери! Не хочу. Нашли педагога.

Анциферов все-таки вырвал из блокнота листок и записал на нем свой телефон.

– Заходи. У меня жена хорошая. Вареники с вишнями любишь? Так делает, что пальчики оближешь, – и посмотрел на часы: к девяти ему надо было в штаб.

Сергей проводил его до трамвая.

Аэроклуб?.. На кой дьявол он ему сдался. Смотреть, как другие летают? Анциферов всю жизнь протолокся помпохозом, фрицев только пленными видел... А он истребитель. Плевал он на эти аэроклубы.

Через полчаса он был уже у Славки Игнатюка.

Круглолицый, губастый, с ленивым взглядом из-под полуопущенных век, Славка, увидев Сергея, улыбнулся.

– Жив?

– Как видишь.

– А морда кислая.

– Горькой хочется, потому и кислая.

Славка почесал свою жирную грудь.

– Что ж, можно... Давно тебя не видел.

– Давно.

В прошлом году, разругавшись из-за тапочек, они расстались и не виделись что-то около года. Сейчас Славка работал в райпотребсоюзе.

– Не то, что в прошлом году, но жить можно. А ты? Сколько имеешь?

– Шестьсот пятьдесят.

– Тю-ю... Женился, что ли?

– Нечего мне делать!

– Сдрейфил?

– Вроде.

Игнатюк криво усмехнулся:

– Твое дело... А то мог бы устроить.

Они сидели в подвальчике. Игнатюк лениво поглядывал по сторонам.

– Жизнь, конечно, не фонтан, масштабы другие, но умеючи – можно. На хлеб с маслом и эту штуку, – он щелкал пальцами по бутылке, – хватает.

Сергей молчал.

– Да ты рубай, не стесняйся, – Игнатюк вилкой подвигал тарелку с селедкой и вялыми, серыми огурцами. – Надоело, вижу, бумажки свои писать? Спокойнее, что и говорить, а все-таки... Как это Валька Костюк говорил? Десять тысяч всегда лучше одной. А ну, отец, дай-ка нам еще.

Сергей ковырял вилкой огурцы.

Десять тысяч всегда лучше одной. Смешной парень был этот Валька. Посадили. А Игнатюк – дрянь. Умный, хитрый, но дрянь. Да и он сам, Сергей, тоже дрянь. Разве не дрянь? Хорошо Николаю: Шура, семья, две ноги... У Анциферова тоже жена,

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
вареники с вишнями. Хорошо им..

Вернулся Сергей домой уже ночью. Спал как убитый. На работу опоздал – пришел к двенадцати. Начальник ел кефир и мрачно поглядел на Сергея. Потом спросил:

– Заболели, что ли?

– Да.

В четыре часа Сергей ушел. В пять он условился встретиться с Игнатьюком. Надо было только предварительно позвонить по телефону. Стоя в тесной, исписанной со всех сторон будке, долго искал листок с номером телефона. Наконец нашел. Набрал номер.

– Вас слушают, – ответил знакомый, чуть-чуть хриловатый голос. – Кто говорит?

– Это я, Сергей.

– Алло! Кто говорит? Алло! Да нажмите вы кнопку!

Сергей нажал – какой дурак их только придумал!

– Говорит Ерошик. Мне надо..

– А, Сергей? Привет. Ты сейчас свободен? Заезжай, Чкалова, пятьдесят восемь. Желтый дом с белыми колоннами. Я тебя буду ждать на углу. У меня как раз перерыв.

Сергей повесил трубку. Что за черт? Голос был явно не Славкин.. Он стал рыться в бумажках. Ну конечно же, он позвонил Анциферову. Балда! Перерыл все карманы – Славкиного телефона не было.

В стекло уже кто-то стучал монетой. Сергей вышел, порылся опять в карманах, плюнул и пошел на улицу Чкалова, 58. Через час Анциферов знакомил его с капитаном Сененко.

Капитан оказался штурманом бомбардировочной авиации, сбитым в апреле сорок пятого года над Берлином, потерявшим одно ухо и приобретшим шрам от того места, где было это ухо, до самого подбородка. В синем комбинезоне с засученными рукавами и в сдвинутой на затылок фуражке он водил гостей по полю и говорил:

– А вот то ангар. – Он указывал на какой-то полуразвалившийся сарайчик. – А вон там вот, отсюда не видно, за ангаром, наша техника. На прошлой неделе получили.

Из-за сарая выглядывала выдавшая виды, насквозь простреленная «удвешка» – самолет У-2, без мотора. Сергей скептически посмотрел на него, заглянул в сарай, именовавшийся «ангаром», почесал затылок.

– М-да..

– Что поделаешь, война! – Капитан тоже почесал затылок, сдвинув фуражку на лоб.  
– Обещают помочь.

– Обещают..

Зашли в «ангар». С десятков хлопцев, лет семнадцати – восемнадцати, в одних трусах возились вокруг распиленного на части мотора.

– Учебные пособия, – пояснил капитан.

Ребята, оказывается, разыскали где-то на свалке два старых мотора, притащили их сюда, промыли в бензине, распилили пополам цилиндры, картеры, поршни и теперь красили разрезы красным.

– Все собственными руками, что поделаешь!

Загорелый паренек в изорванной и измазанной суриком майке подошел к Сененко.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Ездил в горсовет сегодня, товарищ капитан. Опять отказали.

– Опять?

– Опять. Без проекта, говорят, нельзя.

Капитан выругался.

– А ты им говорил...

– Все говорил, товарищ капитан. – Парень кивнул в сторону другого, цыганского типа парнишки, старательно, высунув язык, водившего кистью по разрезу. – Мы вот с Малым вместе ездили. И слушать не хотят.

– А ну их!.. – Капитан в сердцах плюнул, глянул на Сергея. – При ребятах не хочется, а то я тебе сказал бы, что за люди там попадают. Аудиторию надо построить, так проект им подавай. Кирпич достали, лес достали, теперь им проект подавай. Скоро на курятники проекты требовать начнут. – Он хлопнул хлопца по загорелой спине. – Ладно, Костя, завтра вместе двинем.

Анциферов вскоре уехал – перерыв его кончился. Сергей остался. Скинув пиджак, засучив рукава, стал возиться с нераспиленным еще мотором с «фокке-вульф-190». В воздухе он с этим самолетом сталкивался – эти «фокке-вульфы» появились впервые на Курской дуге, – с мотором же до сих пор не встречался.

Сененко с трудом оторвал его от этого занятия.

– Закругляйся, друг. Девятый час уже. Ребятам завтра на работу вставать.

С поля доносился смех. Ребята смывали с себя краску бензином. Сергей вышел. Помылся. Возился долго – запах бензина его возбуждал. Капитан крутился возле.

– Ну, так как? – спрашивал он уже в пятый или шестой раз.

– Что как?

– Пойдешь к нам?

– К вам?

– К нам.

– А кем?

– Да я же тебе сказал. Инструктором по теории пилотирования.

Сергей рассмеялся, бросил ветошь в стоявший у входа ящик с песком.

– На чем? На том корыте без мотора?

– Смейся. Поедем в Москву, добьемся и с мотором. Было бы желание и люди. Люди – это главное. А то ведь один, совсем один. Разрываешься на части. И то, и се, и пятое, и десятое. Ног не хватает.

– А сколько платить будете?

– Шестьсот. И литерная карточка.

– Сергей поморщился.

– Маловато.

– Товарищ капитан! – крикнул кто-то со двора. – Автобус гудит. Опоздаем.

До города было минут тридцать езды. Трясло немилосердно. Ребята хохотали, валясь друг на друга. Капитан сидел мрачный, смотрел в окно.

Прощаясь, протянул Сергею руку.

– Ну так как?

Вопрос был задан, кажется, в седьмой раз, и было ясно, что теперь уже просто для очистки совести.

Сергей искоса взглянул на капитана.

– А гроши е?

– На трамвай, что ли?

– Да при чем тут трамвай? Надо же смочить это дело, как по-твоему? У меня всего десятка. – И слегка толкнул капитана в плечо. – Где у вас тут заправочный пункт?

– 12 –

Как-то, вернувшись домой, Шура обнаружила на своей кровати спящего Сергея. Он давно уже не появлялся, чуть ли не с того дня, когда жонглировал бутылками, и сейчас эта распростертая на кровати фигура несколько удивила ее.

Сергей потянулся и зевнул.

– Привет!

Шура подошла к балконной двери и открыла ее. Уходя, она обычно закрывала ее, чтоб не наносило пыли.

– А накурил-то как! Не продохнешь. Ты где пропадал?

– Не пропадал, а работал.

– Рассказывай!..

– А чего мне рассказывать. Только что из Москвы вернулся.

Звучало не очень правдоподобно.

– А чего ты там делал?

– Не гулял, конечно. – Он сел на кровати и протер глаза. – Помыться у вас можно на кухне?

– Да погоди ты! Расскажи сначала толком.

Сергей встал, снял с гвоздя полотенце и перекинул его через плечо.

– Вот какие все женщины любопытные! Ну, сменил я профессию, вот и все.

Шура недоверчиво взглянула на него.

– Опять тапочки?

– Нет, на этот раз не тапочки.

– А жаль, – сказала Шура. – Мои совсем уже кончились. – Она кивнула головой в сторону валявшейся в углу совсем уже растоптанной пары белых тапочек.

Сергей посмотрел в угол. Потом молча подошел туда, наклонился, взял тапочки в руки, несколько секунд внимательно их рассматривал и вдруг, размахнувшись, вышвырнул их в балконную дверь.

– Чтoб больше я их никогда не видел..

Шура улыбнулась.

– Ну, ладно, ладно... – И, чтоб переменить разговор, спросила: – Так какую же ты профессию выбрал?

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
– Инструктор по теории пилотирования при аэроклубе, – мрачно сказал Сергей. – Хорошо звучит, а? – и вышел на кухню.

– Значит, опять летаешь? – спросила Шура, когда он вернулся из кухни чистенький, с невытертым в ушах мылом.

– Черта с два! Только название, что инструктор. Гоняю по учреждениям, выколачиваю доски, гвозди, цемент. Завхоз, в общем.

Он повесил полотенце на гвоздь, вышел на балкон и развалился в своем любимом плетеном кресле.

– Сидят там эти бюрократы, дюймового гвоздя из них не выколотишь. Животы себе поотращивали, канцелярские души. Хлопцев жаль, хорошие подобрались, а то плюнул бы, ей-богу, и послал бы всех к такой-то матери... Лезешь за шестьсот рублей из кожи вон, а им, начальничкам этим, подавиться бы им на том свете, хоть бы хны...

Он стукнул кулаком по колену. Шура улыбнулась и, зная, что, если вовремя не перебить Сергея, он в своем гневе дойдет до нецензурных слов, спросила:

– А в Москву чего ездил?

– Как чего? Не гулять, я ж тебе сказал. Голоса там лишился, все кулаки о столы оббил, но дело сделал – к весне «удвешка» будет. Покричишь, всего добьешься.

Он стал рассказывать о Москве. До этого он был в ней только раз – в середине октября сорок первого года. Темная, тревожная, с висящими в небе аэростатами, она произвела тогда на него мрачное впечатление.

То были самые трудные дни в жизни Москвы. Учреждения эвакуировались. По пустынным улицам проезжали машины, груженные шкапами, стульями. На окраинах и на самых широких улицах строили баррикады и расставляли в несколько рядов железные ежи. Дома были раскрашены в нелепые яркие цвета. На некоторых нарисованы были деревья и целые рощи. У людей были напряженные лица.

Сейчас не то. Летчицкое сердце Сергея не могло нарадоваться обилию машин. Их было так много, столько их бегало теперь по улицам, что Сергей часами, забыв обо всем, спорил с шоферами о преимуществах тех или иных марок и с упоением возился, уткнувшись вместе с шофером в загапризничавший карбюратор. Ненавистный всем москвичам запах бензина только нравился ему.

Метро ему тоже понравилось. Но не красотой своей – все эти мраморы и граниты на Сергея мало действовали, – а чистотой – спичку даже не уронишь! – и четкостью работы. Сергей любил четкость и безотказность механизма, в метро он это нашел.

Кроме того, он был в планетарии и стереокино. Но ни то, ни другое ему не понравилось.

– Большой интерес на звезды смотреть. А в кино этом только шея болит. Ну его!..

Зато ресторан «Москва», куда по деловым соображениям надо было сводить одного товарища, произвел на него сильное впечатление.

– Сидишь себе на крыше, как пан, смотришь на Кремль, пьешь «Столичную» с салатиком оливье, а внизу люди бегают, как муравьи. И тарелки подогретые, придумают же только!

Поездкой своей Сергей остался доволен.

Зато когда он вернулся домой и ввалился в свою сырую, засыпанную окурками комнату, ему стало вдруг скучно.

– Берлога, одно слово – берлога. Решил к тебе зайти. – Сергей искоса посмотрел на Шуру. – Дай хоть картинку какую-нибудь на стенку или цветов горшочек.

– Бери, – сказала Шура.

– А тебе не жалко?



– Чего их жалеть? Музейная ценность, что ли?

Сергей посмотрел на Шуру.

– Что-то вид у тебя неважный. Работаешь все?

Шура ничего не ответила.

– Денежки все зарабатываешь? – Он прошелся по комнате. – Так я эту возьму, с волнами, она как будто побольше. – Он влез на стул и снял картину. Тяжело соскочил. – Проклятый протез, опять натирать стал. Газета есть? Старая какая-нибудь.

Шура указала на этажерку. Сергей взял и старательно завернул картину.

– А где благоверный? На занятиях, что ли?

– Очевидно...

– И утром и вечером? В хвост и в гриву? Держись только, попался парень... Кстати, скажешь – из Москвы ему привет от одного парня, с которым воевал. Скажешь – от Матвеева. Где-то они на Украине вместе грязь месили.

Шура кивнула головой.

– Ну, а цветы в другой раз! – Сергей посмотрел на стоящие на окне и балконе кактусы, фикусы, бегонии. – Или к черту! Все равно завянут. Поливать не буду, солнца нет... – Он вздохнул. – Жаль все-таки, что супруг твой из той жилищной лавочки ушел. Надоела мне что-то моя дыра. Стареть, вероятно, стал. К уюту потянуло.

Он стоял у двери с картиной под мышкой и все почему-то не уходил.

– Пришла бы хоть, прибрала. И вообще, почему ты чаем не угощаешь?

– А ты хочешь? – Шура подняла голову.

– Хочу. Или, вернее, домой не хочу. Поставь-ка чайник.

Шура вышла на кухню, потом вернулась. Сергей опять удобно расположился в плетеном кресле и положил ногу на перила – последнее время она стала у него почему-то отекать.

– Помнишь, как ты меня тогда все обедом угощала? – сказал он смеясь. – А я все отказывался, говорил, что тороплюсь куда-то. А Федя твой все по карте мне показывал, какие города наши заняли. Помнишь?

Шура поставила на стол два стакана, баночку с повидлом. Подложив дощечку, стала резать хлеб.

– А где он сейчас? В Риге все?

– В Риге.

– Пишет?

– Нет.

– А в общем, неплохой парень. – Сергей рассмеялся и подмигнул одним глазом. – Чем он только тебя опутал, никак не пойму. Пацан ведь...

Шура серьезно посмотрела на Сергея.

– Ты знаешь, я не люблю, когда ты так разговариваешь. Мне это неприятно.

– Ладно, ладно, не буду, – он опять рассмеялся. – Нельзя уж и подразнить. При Кольке же я не говорю.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Николай здесь ни при чем, – сказала Шура.

– То есть как это – ни при чем? Муж, и ни при чем? Вот это мне нравится.

Шура подошла к шкафу и, не поворачиваясь, сказала:

– Николай здесь больше не живет.

– Как не живет?

– Очень просто. Не живет, и все.

Сергей свистнул. Подошел к Шуре, потом к столу, опять вышел на балкон.

– Я ему переломаяю все кости, – тихо сказал он. – Все до одной. Понятно?

Шура так же спокойно ответила:

– Нет. Ты ему ничего не сделаешь.

– Нет, сделаю.

– Тогда уходи домой. Если будешь так говорить, уходи домой. И не появляйся здесь!

Шура была совершенно спокойна. Немного побледнела, но спокойна.

– Пей чай, – сказала она. – Ты ведь чаю хотел. Сахару только нет. Придется с повидлом.

– А ну его!..

Сергей откинулся на спинку стула и долго смотрел в потолок: большая трещина, начинавшаяся около розетки, извиваясь, ползла от одного угла к другому.

– 13 –

Николай сидел в скверике против университета.

В институт он опоздал. Последние спешащие на работу служащие торопливо прошли через сквер. Появились первые няньки с младенцами. Вокруг памятника Шевченко пышно цвели какие-то цветы, ярко-красные и желтые, на длинных стеблях. В прошлом году их не было, тогда только жиденькая трава росла. Университет обносят забором – собираются восстанавливать. С деревьев тихо падают первые одинокие еще листья кленов – верный признак жаркого лета и близкой осени.

Николай на всю жизнь запомнит этот день. И эти цветы. И этого мальчика в штанах из плащ-палатки, старательно лепящего на песке городок возле фонтана. И самый фонтан – гипсовый карапуз с уткой в руках, а у утки отбита голова. И этого медленно бредущего старика с козлиной бородкой – не капельдинер ли это из оперы? Нет, не он... И садовника, волочащего по дорожке кишку...

Второе сентября 1945 года... В этот день кончилось что-то очень большое, очень важное.

И сколько раз уже оно кончалось. Кончалось и начиналось. В сороковом, когда он женился на Шуре, и в сорок первом, когда вспыхнула война, и через три года, когда врачи испытывали его руку электрической машинкой. И потом, когда он вернулся к Шуре, когда стал инспектором, когда поступил в школу. И вот сейчас опять.

Николай сидит на скамейке и старательно ковыряет оторвавшийся кусок коленкора на чемодане. В чемодане белье, несколько книжек, бритвенный прибор и Шурина карточка, та самая, где они сидят вдвоем. Они снялись перед самой войной. В воскресенье, как раз за неделю до начала войны. И в этом же скверике. Только ближе к бульвару, там была фотография – голубенький павильон с замазанными белой краской окнами.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
И все это позади...

Когда год тому назад он пришел к Шуре и увидел ее плачущей, с тряпкой в руках, ему вдруг показалось, что вернулось прошлое и что лучше этого прошлого – дружного, хорошего, о котором так мечталось всю войну, – нет ничего на свете.

Но не получилось это дружное, хорошее, прежнее. Ну вот, живут они в одной комнате, живут тихо и мирно, и Николай старается не думать о Вале. Но ведь все это не так, все это обман: и то, что они живут вместе, что это семья, и то, что он не думает о Вале...

Как трудно было об этом говорить! Шура допивала свой чай, сосредоточенно разглядывая стоящую на столе сахарницу с отбитой ручкой, и только кивала головой – она понимает, она все понимает. И лицо у нее было такое, как всегда, только губы плотно сжаты. И ни одного упрека, ни одной слезинки.

Он проводил ее до трамвая. Потом вернулся, поставил все на свое место, сложил Шурины чертежи на столе. Долго писал записку – глупую записку со словами какой-то благодарности. Зачем? Зачем он ее написал? Разве можно об этом писать? Милая, сдержанная, замкнутая, все понимающая Шура, не читай ты этой записки, не читай слов! Пойми только...

Николай сидит, курит, смотрит на старика садовника, почтительно поливающего большие красные цветы вокруг памятника. Потом встает, берет чемодан и медленно направляется к выходу.

– 14 –

Если идти по Андреевскому спуску к Подолу, по правой стороне, чуть ниже Андреевской церкви, стоит дом. Мальчишки, которые приходят сюда со всех окрестных и даже далеких улиц, прозвали его «Замок Ричарда Львиное Сердце». Он действительно похож на замок. Он стоит над самым обрывом, весь в башенках, окруженный подпорными стенками с бойницами, несимметричный, с маленьким двориком, таинственными лестницами, какими-то ходами, переходами.

Одна из таких лестниц – кирпичная, перекрытая сводом – выводит на прилепившуюся к дому горку. С горки виден Подол со всеми его фабриками, элеваторами, церквушками, виден Днепр, железнодорожный мост, дальние вышгородские леса.

Еще в детстве, когда Острогорские жили неподалеку, на Рейтарской улице, Валя часто приходила сюда, играла здесь с мальчишками в «рыцарей и разбойников», пускала вместе с ними змею.

Сегодня она тоже пришла сюда.

По расписанию у нее должно было быть четыре часа, но Игнатий Петрович, как всегда, что-то напутал, хотя сидел над расписанием целую неделю, и вторые два часа оказалось проводить не с кем.

Домой не хотелось. Вообще с того дня, как умерла мама, Валя разлюбила свою комнату. Она в ней только ночевала, остальное время возилась с блейбмановскими младенцами, помогала Марфе Даниловне в хозяйстве, часто у Ковровых и обедала.

Но сегодня не захотелось ни к тем, ни к другим. Потянуло на свою горку – давно здесь не была.

День был ясный, чуть-чуть прохладный. Пожилая женщина в очках и накинутом на плечи платке сидела на табуретке и читала книгу. Маленькая девочка в беленькой шапочке на пуговках играла рядом в куклы. Мать, – а может быть, бабушка, – наклонясь, сказала ей что-то. Девочка подбежала к Вале и спросила, который час. Валя ответила, но девочка захотела сама посмотреть на часы. Ей очень не понравилось, что цифры на часах римские; дома у них есть часы, так там цифры настоящие, а сами часы в виде маленького домика, и вверху в домике сидит совсем уже маленькая кукушка, но сейчас она в отпуску и не кукует. Так они разговаривали, пока девочка вдруг не спохватилась и не убежала. Уже пробежав несколько шагов, вдруг обернулась и сказала «спасибо».

Валя подумала, что у нее могла быть такая же девочка, даже старше. Или мальчик. Бегал бы так же по горке и, как все мальчишки, не слушался бы ее. А может, и

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru слушался бы. Толя Калашников, командир взвода противотанкового дивизиона, ее слушался. Он, гроза всех артиллеристов, при Вале смущался, сопел и, краснея, дарил ей какие-то особенные кинжалы с цветными ручками. Это было года три тому назад. Ей было тогда двадцать лет, она ходила в белой мохнатой ушанке, с «вальтером» на боку, и ей очень нравилось, что такой вот большой и сильный Толя при ней теряется и не знает, что сказать.

Это было три года тому назад. А теперь...

Десять месяцев она не видела Николая. И еще один месяц. Бесконечный месяц, когда она думала только о нем, – о нем и о Шуре. Она пыталась себе представить ее. Какая она? Сколько ей лет? Какие у нее глаза? Вале почему-то казалось, что она маленькая, с ямочками на щеках, хохотунья. Валя не выдержала и спросила. Это было вчера. Николай сидел на валике дивана, закинув руки за голову, и грыз мундштук. Она – рядом, поджав под себя ноги, смотрела на его круглую, коротко стриженную голову, на широкий, горьковский, как говорила мама, нос, на маленький мундштучок, который он перебрасывал из одного угла губ в другой. «Спросить или не спросить?» Она спросила.

Он, не поворачивая головы, протянул к ней руку и ошупью поймал ее ладонь.

– Не надо об этом говорить, – сказал он.

– Почему? – И, так как он ничего не ответил, повторила: – Почему не надо?

– А просто так, не надо...

Он повернулся и посмотрел на нее.

– А ты ее любишь?

Валя даже не уверена, спросила ли она его об этом, может быть, только подумала. Вместо ответа он положил свою круглую, колючую, теплую голову к ней на колени. Так ничего и не сказал.

Во дворе «Замка Ричарда» появились ребята с мячом. Сделав из двух кирпичей ворота, стали забивать голы. Мяч часто скатывался с горки вниз, и ребята, препираясь и обвиняя друг друга, спускались за ним и карабкались потом наверх, цепляясь за кусты.

Откуда-то донеслись радиосигналы – проверка времени. Валя встала, надо еще готовиться к вечерним лекциям.

На Владимирской у репродукторов стояли группы людей, ждали какого-то сообщения. Вероятно, о Японии. И, так же как в первые дни мая, когда на углах так же стояли и ждали сообщения о мире, никакого сообщения не было: передавали обзор «Комсомольской правды».

Валя постояла и пошла дальше.

Завтра она поговорит с Николаем. Она твердо это решила. Хотела вчера, перед его уходом, но не вышло, не смогла. Всю ночь лежала и думала. В институт он не пришел. Она даже в его аудиторию заглянула – его не было. Значит, завтра.

Она ни слова не скажет о его жене, – она только попросит, чтобы он к ней больше не приходил.

Войдя в квартиру, Валя, как обычно, сунула руку под шкаф, по старой привычке она там все еще оставляла ключ. Его не было. Валя почувствовала, как у нее вдруг забилось сердце. Она сделала несколько шагов и вошла в комнату – дверь была не заперта.

Николай сидел на балконе, на ящике из-под картошки, что-то читал. На полу стояла пепельница, набитая окурками. Он не слышал, как она вошла.

Господи, вот оно... Сейчас...

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Валя вышла на балкон. Николай поднял голову. Захлопнул книгу, встал. Он приоткрыл рот, как будто хотел что-то сказать, но, увидев ее лицо, ничего не сказал. Молча, как будто спрашивая, смотрел на Валю.

– Ты из института? – спросил он наконец.

– Да, из института. – Вале показалось, что это сказала не она, а кто-то стоящий рядом с ней.

Она подошла к перилам. Виноград уже стал краснеть. Она сорвала листок и растерла его между ладонями. Николай тоже подошел и тоже сорвал листок. Год тому назад они так же стояли на этом балконе, и Валя так же срывала листья. Только тогда был вечер, недавно прошел дождик, пахло свежей землей и отцветающим табаком, и из комнаты доносился грохочущий Яшкин хохот. Сейчас кругом тихо. Только изредка доносится детский писк из Бэлочкиной комнаты.

– Мне надо с тобой поговорить, Николай, – сказала Валя. – Даже не поговорить, а попросить об одном одолжении.

Николай молчит. Может быть, он кивнул головой – Валя не смотрит в его сторону. Она вдруг чувствует, что не находит слов.

– Дай мне папиросу, – говорит она.

Николай вынимает из кармана пачку. Валя на ощупь берет папиросу, спички, закуривает, делает несколько затяжек. Опять закружилась голова, как в тот раз...

– Так вот, – говорит она. – Я думаю, лучше всего будет, если ты... В общем, не приходи больше. Не надо. – И помолчал: – Мне это неприятно.

– Неприятно?

– Да, неприятно.

Молчание. Валя срывает еще несколько листьев и бросает их вниз. Они падают на тротуар.

– Но это же неправда, – говорит Николай очень тихо и отдельно.

– Нет, правда. И если ты честный человек, ты должен сам понять.

Несколько секунд Николай еще стоит. Потом она слышит, как он проходит по комнате, как скрипят половицы. В глубине квартиры хлопает дверь.

Вот и все...

Валя возвращается в комнату, ложится на диван и долго лежит, уткнувшись лицом в подушку.

– 15 –

Первый курс любого института всегда самый трудный. Особенно для того, кто попал на него прямо с фронта или почти прямо с фронта.

Первое время кружится голова. В переносном и даже буквальном смысле. Необычная обстановка, непривычные люди – профессора и преподаватели, с которыми не знаешь, как держаться, книги, в которых ничего не понимаешь, логарифмы, интегралы, абсциссы, дифференциалы – сам черт ногу сломит! И многие бросают. Не выдерживают и бросают...

Николай не бросил. Но не потому, что ему было легче, чем другим. Напротив, ему было труднее, чем очень многим. Но, может быть, именно эта трудность и была как раз так необходима ему сейчас.

День загружен до предела. Вставать приходится в половине восьмого. В восемь начинаются лекции, в три кончаются. Вечером иногда бывают семинары, – правда, не часто: два, а то и один раз в неделю. Кроме того, надо готовиться к следующему дню, еще три-четыре часа просидеть над книжкой и лечь в два-три, иногда даже в четыре часа ночи. На первых лекциях Николай часто засыпал. Преподаватель о

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru чем-то говорит, Николай слушает и дремлет; потом вдруг видит, что ребята над ним смеются. Впрочем, они тоже часто засыпают. Получается как на фронте – больше всего хочется спать.

Трудно. Трудно вставать в половине восьмого, когда ложишься под утро. Трудно сидеть за партой – в институте почему-то не столы, а узенькие школьные парты, ноги все время во что-то упираются. Трудно следить за тем, что говорит и пишет на доске преподаватель. Еще труднее все это записывать, а потом дома разбирать.

Особенно трудно с математикой. С математикой и начертательной геометрией. Николай до сих пор никогда не чертил и не рисовал (в армии ему всегда доставалось за плохо сделанные схемы), и все эти проекции и аксонометрии никак ему не даются. Но математика хуже всего, хуже «начерталки», хуже физики.

Читает ее профессор Корчагин – тихий, спокойный, никогда не раздражающийся. Он читает аналитическую геометрию. Возможно, это даже и интересно, но когда Николая вызывают к доске, он вдруг чувствует, что весь покрывается потом. Перед командующим армией так не волновался, как перед этим спокойным, с усталыми, никогда не улыбающимися глазами человеком, стоящим у доски.

– Ну что ж, садитесь, – говорит он, печально глядя на гвардейский значок Николая. – Понимаю, что трудно. Садитесь. Просмотрите к следующему разу еще раз материал.

И Николай всю ночь сидит в общежитии над книгой, просматривает к следующему разу еще раз материал, а голова как камень – ничего не понимает.

Кроме этого, приходится еще отвечать за всю группу.

Курс состоит из двух групп. В своей группе Николай самый старший, почти все остальные моложе двадцати четырех лет. К тому же он единственный коммунист, остальные беспартийные, комсомольцы и только три кандидата партии, – поэтому его избирают старостой. Опять стал чем-то вроде командира, многие даже называют его капитаном.

Есть на курсе две девушки – Поступальская и Гарф, ходят всегда вместе, сидят рядом, стесняются. Да и все другие присматриваются друг к другу, держатся пока еще особняком.

Почти треть группы – девять человек из тридцати – не только учится, а еще где-то работает, а это, конечно, отзывается на успеваемости. Секретарь партбюро, не молодой уже, по-чапаевски усатый, спокойный и всех умеющий успокаивать, Хохряков говорит Николаю:

– Знаю, что у тебя многие работают, все знаю. Но те, которые не работают, могли бы лучше заниматься. Фронтючки твои как? Не качают?

– Да ничего, – уклончиво отвечает Николай. – Трудновато, конечно, что и говорить, на троечках больше выезжаем.

– Подтяни их, Митясов, подтяни. Не к лицу тебе, чтоб твоя группа отставала. Подтяни!

И Николай подтягивает.

С фронтючками, за исключением одного, действительно тяжелее всего. На курсе их, не считая Николая, пять человек: Казанцев, Григорчук, Антон Черевичный, комсорг группы Левка Хорол и Громобой. Настоящая его фамилия Громовой, но иначе как Громобой, на курсе его не зовут.

Казанцев и Григорчук к концу первого семестра «отсеялись» – один не выдержал нагрузки, ушел на работу, другой переехал с семьей в Харьков. Остались трое – Антон Черевичный, Левка Хорол и Громобой. С ними-то Николай и сблизился, сначала с первыми двумя, потом и с третьим.

Левка и Антон очень непохожи друг на друга. Левка то, что называется «интеллигентный мальчик», ходивший до войны в бархатных курточках, собиравший марки, учившийся на скрипке (отец его был довольно известным в кругу музыкантов

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru скрипачом) и неожиданно для всех ушедший вдруг семнадцати лет добровольцем на фронт. Антон, шахтер и сын шахтера, почти всю войну, с сорок второго года, провел в плену и только благодаря своему здоровью смог перенести все то, что он перенес в Германии. Одному двадцать лет, а на вид и того меньше, и только перед самой войной он окончил десятилетку; другому же двадцать шесть, семилетку он кончил более десяти лет тому назад, потом год проучился в железнодорожном строительном техникуме, но вынужден был бросить по семейным обстоятельствам. Один совсем недавно, краснея, впервые побрился в парикмахерской; у другого уже семья и двое детей, которым он регулярно из своей стипендии высылает деньги куда-то в Донбасс. Один по-юношески легок, весел и шутя, не заглядывая в книги, сдает все зачеты; другой молчалив, застенчив, кривоплеч – у него отбито одно легкое, – молча на всех смотрит своими голубыми, ясными, чуть-чуть грустными глазами и с невероятным трудом одолевает премудрости науки.

И тем не менее у них есть что-то общее. На первый взгляд, даже трудно сказать что – очень уж они непохожи. Только потом, значительно позже, Николай понял, в чем было это сходство и почему его потянуло к ним. Оба они были именно такими, какими они были, и ничего не делали, чтоб казаться лучше, чем они есть, а это довольно редкая черта.

Левка Хорол всегда бодр и весел. Это не значит, что он все время смеется или шутит, – и то и другое он делает в меру, не больше и не меньше других. Но достаточно появиться ему, румяному, свежему, всегда почему-то растрепанному, с какими-то вихрами на затылке, в расстегнутой даже зимой рубашке, с забавной своей родинкой на самом подбородке, и сразу всем становится легко и весело. Он плохой рассказчик – после контузии он слегка заикается, но то, что он рассказывает, всегда интересно и, главное, весело. Даже когда рассказывает о войне, и то почему-то получается весело, как будто на войне, кроме забавного, ничего не случилось.

Левка много читал, но он не книжник. Он относится к тем счастливым натурам, у которых на все хватает времени и желания. Он азартно и небезуспешно ухаживает за самой хорошенькой девушкой в институте, третьекурсницей Ксенечкой Антоновской, но если подворачивается веселая мальчишеская компания или чей-нибудь день рождения в общежитии, махнув рукой, идет на день рождения.

Николай смотрит на Левку Хоролу и думает: «Вот кому легко в жизни будет! Всем интересуются, все умеет, все схватывает на лету, все его любят, и он всех любит. Станет прекрасным инженером или архитектором – Левка мечтал перевестись на архитектурный факультет, – и будет у него чудесная жена, чудные дети, и жить они будут дружно, весело...»

С Антоном Черевичным Николай сошелся не сразу. Сначала Антон показался ему сумрачным и замкнутым. Он молча приходил на лекции, молча садился за свой стол, молча ходил и курил по коридорам во время перерывов, и голоса его, за исключением тех случаев, когда его вызывали к доске, никто не слышал. Николаю была понятна эта замкнутость – как-никак столько лет провести в плену, – поэтому он считал неудобным заводить с ним разговоры. Да на первых порах он и сам по горло был занят всякими физиками и математиками – не до Черевичного было.

Потом он понемногу стал присматриваться к нему. Бросались в глаза поразительная трудоспособность и настойчивость Антона. Он мог восемь – десять часов сидеть над учебниками, и это (если не считать двух лет плена и побоев) доводило его иногда до обмороков. Ребята, скинув с него рубашку, растирали его, он вставал и опять садился за учебники.

Присмотревшись к Антону, Николай понял, что он вовсе не сумрачен и не замкнут, а просто очень застенчив. Антону всегда казалось, что он кому-то мешает, что с ним неинтересно, он очень стыдился своих обмороков. Но достаточно было его расшевелить, проявить интерес к нему, к его жизни, как он сразу становился другим.

Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился.

– В Нью-Йорке, – спокойно ответил Черевичный.

– Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю.

– В Нью-Йорке, я ж говорю, – и улыбнулся. – Это в Сталинской области. Поселок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть.

– Неужели есть?

Оказалось, что действительно есть.

– Так, может, и Нью-йоркский райком партии есть?

– Нет, райкома нет. А поселковый Совет Нью-йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис.

Николай и стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно, получалось очень смешно.

Антон много видел и пережил, но держал это в себе и высказывал только случайно, в ответ на какой-нибудь вопрос. Если его, например, спрашивали: «Ну, расскажи, Антон, как у вас в лагере было?» – он пожимал плечами и говорил: «Да как во всех. Не лучше и не хуже». – «Били вас?» – «Били». – «Сильно били?» – «Основательно». Больше из него ничего выжать не удавалось.

Но иногда, если это приходилось к слову, он вдруг начинал рассказывать, и вот тогда-то слушатели сидели молча, раскрыв рты.

Как-то на квартире у Левки Хорола – Левка подтягивал товарищей по математике – произошел такой случай.

Прозанимались весь вечер. В двенадцатом часу сели за стол. Левкин отец – маленький, подвижной, в теплой пижаме, с поблескивающими из-за пенсне глазами, великий любитель поговорить, – развернув газету, стал комментировать заявление нашего посла в Бельгии. В заявлении шла речь о том, что группу советских граждан, вместо того чтобы репатриировать, посадили в тюрьму.

Илья Львович возмущался:

– Подумать только, до чего обнаглели! И кто? Бельгийцы, которые и трех дней не воевали, им всех их генералов вернули, а они, сукины сыны, людей в тюрьму сажают. И кого – людей, которые столько времени просидели в лагерях, в фашистских лагерях...

Он шуршал газетой и никак не мог успокоиться.

– Где это мы с тобой читали, Левик, о каком-то лагере в Бельгии? Возле Брюсселя, кажется...

– Бреендонк? – сказал вдруг Антон, обычно всегда молчавший и сосредоточенно пивший свой чай.

– Вот-вот, Бреендонк, совершенно, верно. Там ведь бог знает что творилось. Где это мы с тобой читали, Левик? – Он повернулся к Антону: – Вы тоже читали?

Тот смутился и поперхнулся чаем.

– Нет, не читал...

– Откуда же вы знаете?

Антон покраснел и, не отрываясь от скатерти, сказал:

– Я в нем сидел, в этом лагере. Это в тридцати километрах от Брюсселя. Потом я бежал оттуда.

Оказывается, он пробыл в этом, одном из самых страшных немецких лагерей около трех месяцев. Потом бежал во Францию, попал к партизанам в Савоие, воевал вместе с ними, потом их отряд накрыли, он через Альпы бежал в Италию, там попался, приговорен был к расстрелу, опять бежал, опять попался, но на этот раз ему



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru повезло: его не расстреляли, а вернули в Германию и бросили в лагерь. Потом освободили наши.

– Вот черт! Так ты пол-Европы, выходит, исколесил?

– Исходил, скорее.

– И в Париже был?

– Был. И в Бельфоре был, и в Милане. Но вообще в городах не очень. Больше в горах и деревнях.

В этот вечер Антон был королем. Вначале он смущался – не привык к такому вниманию к своей особе – и вообще неловко себя чувствовал, но потом как-то окреп, развязался. В этот вечер ему пришлось рассказать о многом. О том, как попал в плен, тяжело раненный на Юго-Западном фронте, как собственными средствами лечился с помощью молоденького фельдшера-казаха, как в первый раз бежал из лагеря (а бежал он шесть раз), как сдружился с французскими партизанами – жителями Савойи, гористой местности на границе Швейцарии и Италии, одной из самых бедных провинций Франции.

В довершение всего оказалось, что он неплохо говорит по-французски.

Софья Петровна, маленькая, живая, говорливая дама, улыбаясь и красиво картавя, задала ему несколько вопросов. И – о чудо! – Антон стал отвечать, не так быстро и не так красиво картавя, но стал отвечать. И так несколько минут они разговаривали и как будто даже понимали друг друга.

– Ну и парень же ты! – говорил по дороге Николай, когда они наконец вырвались от Хоролов. – Могила, а не человек. Я бы на третий день обо всем этом уже рассказал, а ты... Странный парень, ей-богу...

Антон ничего не ответил, – за один сегодняшний вечер он сказал больше, чем за все время своего пребывания в институте.

– 16 –

С Громобоем дружба завелась тоже не сразу.

Очень большой, с кажущейся маленькой на его широченных плечах, красивой головой донского казака – коротконосой и чубатой, он всегда ходил, звеня орденами на весь коридор. По натуре своей человек добрый и отзывчивый, он был вспыльчив и крайне обидчив. Ему все время казалось, что чем-то унижается его фронтовое достоинство, что к нему не так относятся, как того требуют его заслуги и ордена, и каждую минуту он готов был любыми средствами защищать свою честь.

Громобой был сталинградцем. В Сталинграде же был ранен, потом воевал в Польше, Германии, Чехословакии, награжден был шестью орденами, из них двумя польскими и одним чехословацким. Поэтому считал, что многое ему дозволено.

Чуть ли не в первый день занятий у него произошел конфликт с маленьким, тщедушным Куныком из-за того, где кто будет сидеть. Он швырнул книги Куныка в угол, самого его чуть-чуть двинул плечом, так что Кунык полетел вслед за книгами, а сам преспокойно уселся на его место, вытянув чуть ли не до середины комнаты красивые, обтянутые хромовыми низкими сапожками ноги.

Николай подошел к нему и спокойно сказал:

– Подбери книги, извинись перед Куныком, а сам перебирайся туда, к окну.

Громобой взглянул исподлобья.

– А ты кто такой, интересно мне знать?

– Моя фамилия Митясов. С сегодняшнего дня я староста группы и предлагаю тебе сделать то, что я сказал.

Громобой смерил Николая с ног до головы презрительным взглядом и, ничего не сказав, повернул к нему свою могучую, перетянутую портупеей – он до сих пор

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru носил портупею – спину.

Николай молча поднял край скамейки, на которой сидел Громобой, и тот с грохотом, звеня орденами, полетел на пол. Николай положил брошенные книги на стол и сказал Куныку:

– Твое место будет здесь. Ясно? Садись.

В этот момент вошел преподаватель. Громобойу пришлось сесть к окну.

В перерыве он подошел к Николаю и, не глядя в глаза, мрачно сказал:

– Хоть ты и староста, а блин я из тебя сделаю. Понял?

– Что ж, – сказал Николай, – можно после лекций выйти прогуляться. Я не возражаю.

Но после лекций Громобой куда-то исчез, а на следующий день подошел как ни в чем не бывало:

– А ты, друг, оказывается, тоже сталинградец. Я и не знал. У кого воевал?

После этого случая некоторое время все шло более или менее нормально. Однажды, правда, Громобой опять завелся с кем-то, но после вмешательства Николая дальнейшие недоразумения, в общем, прекратились. Вообще, как ни странно, Громобой слушался Николая.

Заниматься ему было трудно. Как и Николаю, труднее всего давались математика и физика.

– Не моих мозгов дело. Не переваривают, что поделаешь? Туп.

Николай, по правде говоря, тоже не совсем понимал, почему Громобой не поступил, например, в физкультурный институт, где его мышцы были бы более уместны. Он как-то даже спросил его об этом.

Тот немного удивленно посмотрел на Николая.

– А я знаю? Получилось так, и все. Когда демобилизовался, спросили – хочешь учиться? Хочу, говорю. В военное какое-нибудь техническое училище хочешь? Нет, говорю, не хочу. А куда ж ты хочешь? А бог его знает, вам виднее, в механический, что ли? В механический, говорят, мест нет. Хочешь в строительный? Строительный так строительный, один дьявол. Вот и попал в строительный. Перевестись всегда успею, если надоест.

– А в физкультурный не пробовал?

– Улыбнулся мне физкультурный. Доктора говорят, сердце ни к черту. Война испортила.

– А в военную школу почему не захотел?

– Э-э... Пусть молодежь идет. С меня хватит. Осколков нахватался. – И, засовывая книги за шинель, добавил: – Да, брат, это тебе не фронт, не Сталинград...

А вскоре, на зачете по физике, Громобой опять отличился. Правда, физик был тоже не прав, и, может быть, только это дало Николаю возможность замять поступок Громобоя, который вряд ли закончился бы так благополучно.

Громобой напутал что-то в ответе. Физик, усталый после пятичасового сидения за столом, зевая, посмотрел на его листок и велел подумать еще. Громобой стал думать, но у него ничего не получалось. Тогда физик подошел к нему и, взглянув на его грудь, украшенную орденами, сказал:

– Я бы на вашем месте, молодой человек, имея столько орденов, из армии не уходил бы! – И, наклонившись, взял двумя пальцами висевший на груди Громобоя польский крест «Виртути милитари». – Это какой?

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– А ты не лапай! Не тебе дали!

Громобой с силой оттолкнул руку физика и, швырнув на пол листок с задачей, красный, с круглыми от бешенства глазами, направился к выходу. Николай заслонил ему дорогу. Громобой стиснул зубы:

– Пусти!

Николай не сдвинулся.

– Пусти, а то...

Лицо его стало совсем пунцовым. Физик, бледный, дрожащими руками складывал свои тетрадки.

– Ты сейчас же попросишь извинения, – тихо и внятно сказал Николай. – Слышишь? Сейчас же...

Громобой сжал челюсти так, что скрипнули зубы. Потом повернулся, тяжело шагая, подошел к столу и негромко сказал:

– Извините, я не...

Физик торопливо, не глядя, закивал головой:

– Хорошо, хорошо... Я понимаю. Я поставлю вам удовлетворительную оценку, но...

– А он разве решил задачу? – все еще стоя в дверях, спросил Николай.

– Нет... Но я вижу, что товарищ...

– Тогда ставьте двойку. Товарищ подзайметса и сдаст.

Громобой молча кивнул головой.

Николай попросил физика о происшедшем никому не говорить, а когда тот вышел, подошел к Громобой и сказал резко:

– Солдат тоже... Истерики закатывает. Смотреть на тебя противно. Развесил ордена и пыжишься, как павлин.

Громобой сидел на столе, опустив голову, и смотрел на носки своих начищенных сапог. Потом вдруг поднял свою красивую, чубатую голову. Николаю показалось, что ему чудится, – по щекам его текли слезы.

– Не кричи на меня, Колька... Не кричи... – и запнулся.

Николай опешил. Он всего ожидал, только не этого.

Громобой соскочил со стола, подошел к окну и облокотился о подоконник. Николай обнял его за плечи.

– К черту! Пойду к директору, – по-детски всхлипывая, говорил Громобой. – Пусть отчисляет. Я не виноват, ей-богу не виноват... Ну, не понимаю я. Что я могу поделать? Не понимаю я всех этих, черт его знает, как они называются... Даже названия запомнить не могу... Пусть отчисляет. Я и сам знаю, что мне здесь не место. Пойду вот и скажу.

Николай смотрел на этого большого, сильного, увешанного орденами человека, по щекам которого катились слезы, и все это ему было так знакомо, так понятно...

На следующий день Громобой пришел на лекции без орденов, даже без планок.

Случай этот напомнил Николаю о Сергее.

Не виделись они месяца три, а то и больше – со дня отъезда в Черкассы. Как-то потом Николай заходил к нему, – это было в первые дни ухода от Шуры, когда все было горько и противно, – но не застал. Соседка сказала, что он не то на работе,

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
не то в отъезде – его разве поймешь!

Сейчас, после случая с Громобоем, Николая опять потянуло к нему. Захотелось увидеть его усатую физиономию, узнать, где он, чем занимается, бывает ли по-прежнему у Шуры. Сергей был одним из тех немногих людей, с которыми можно было говорить просто и обо всем. С Алексеем было не просто, да и вообще встречались они теперь мельком, на лестнице, на партсобрании или когда Николай забегал к нему в деканат, так сказать, по долгу службы, – перекидывались двумя-тремя словами и расходились. С Валею встречи происходили тоже на лестнице или на собрании. Когда-то с ней было тоже просто и легко. Сейчас они только слегка кивали друг другу головой и расходились в разные стороны.

Как-то после лекций Николай собрался к Сергею. Захватил с собой Громобоя и пошел. Но и на этот раз их постигла неудача. На дверях Сергеевой комнаты висел замок. Мало того, выглянувшая из соседней комнаты женщина, повязанная платком, сказала, что он здесь уже не живет.

– Выехал. Совсем недавно выехал.

– А куда, не знаете?

– Не знаю, голубчик, не говорил. Теперь здесь бухгалтер один живет. Рублей на сто бутылок вынес, целый мешок. Ей-богу!

Больше ничего узнать не удалось.

– Жаль, – сокрушался дорогой Николай. – Жаль парня. Боюсь, как бы опять с пути не сбился. У него это есть, разгульность такая. Держится, держится, а потом как ахнет – всем тошно станет. А хороший парень, очень даже хороший. Жаль.

Они шли с Громобоем по улице, подняв воротники своих видавших виды шинелей – моросил дождь, – и Николай рассказывал ему о Сергее, об их первой встрече, о сложной, никак не получавшейся жизни его.

– И вот провалился, черт. Был бы фирмка, мы б сразу его нашли, а теперь ни того, ни другого.

Но Николай ошибался. Если бы даже и существовал еще фирмка со своим заведением, Николай не нашел бы там Сергея.

– 17 –

Дней через десять после ухода Николая Шура опять поехала в Харьков. Поехала их целая бригада – пять инженеров и две чертежницы, – предстояла срочная работа на месте. Обычно Шура уклонялась от этих командировок, но сейчас ей так вдруг захотелось куда-то вырваться, так неуютно было возвращаться в свою пустую комнату, что она, охотно приняв предложение, в одно прекрасное сентябрьское утро уложила чемодан и отправилась на вокзал.

Сергей тоже приехал на вокзал.

– Ну к чему эти проводы? – говорила Шура, делая вид, что сердится, а на самом деле радуясь приходу Сергея. – Подумают еще, что ты...

– Ну и пусть думают, нам какое дело.

Она взглянула на Сергея. Еще сегодня утром она радовалась возможности хоть на время уехать из своей комнаты, где все напоминало ей об ее одиночестве. И вдруг ей стало грустно. Вот она едет сейчас с людьми хорошими, чем-то даже приятными ей, но ведь они не знают ее жизни, они равнодушны к ее горю. А здесь остается единственный человек, друг Николая, который знает все и после всего этого стал не только не холоднее, а, напротив, ближе, добрее...

Она рассеянно смотрела на подходивший к перрону поезд.

– Не люблю я почему-то Харьков, – сказала она. – Неуютный он какой-то, скучный. И площадь эта с Госпромом. Пустырь, а не площадь.

– Ничего, – сказал Сергей. – Через две недели вернешься домой.

– Это говорится только, через две недели. Раньше октября не вернемся. Я уж знаю. Все цветы мои погибнут за это время. Попросила Ксению Петровну за ними следить, да она и своих-то не поливает.

– Не погибнут. Чего их там поливать особенно?

– Кактусы не погибнут. И плющ, может, тоже. А вот бегонии и олеандры... Ты все-таки иногда заглядывал бы. Будет свободное время – загляни, напомни Ксении Петровне.

– Можно и заглянуть, нам нетрудно.

– Кактусы часто поливать не надо. Они не любят воды.

– Ладно. Не буду.

Помолчали. Потом Сергей спросил:

– А ты зачем в Харьков едешь?

– Как зачем? – удивилась Шура. – Ты же знаешь.

– А все-таки зачем?

Поезд лязгнул буферами. Из вагонов, толкаясь, стали выскакивать провожающие.

– Ну ладно, – сказал Сергей, поднимая Шурин чемоданчик. – Садись, а то останешься.

Шура села в вагон, и поезд почти сразу же тронулся. Сергей помахал рукой и ушел.

На следующий же день он зашел проверить цветы. Выставил их все на балкон – их было так много, что пришлось внести с балкона в комнату плетеное кресло, – и старательно полил их из кувшина. Через день опять зашел, а потом стал приходить чуть ли не каждый день.

За месяц Шурино отсутствия цветы буйно разрослись, олеандры покрылись розовыми бутончиками, а старый фикус неожиданно вдруг выпустил длинное зеленое острие, которое через день распустилось и превратилось в свежий, ослепительно зеленый листочек. Сергей был очень горд, пригласил даже соседей посмотреть, как весело растут цветы под его «чутким руководством».

Приходил он вечером, после работы, поливал цветы, иногда подметал комнату и вытирал пыль со всех предметов, так как балконная дверь была всегда открыта и с улицы наносило пыль.

Как-то, снимая половой щеткой паутину над голландской печкой, Сергей обратил внимание, что потолок в этом углу от копоти стал совсем черным. Став на табурет, он попытался почистить щеткой, но получилось только хуже – исцарапал весь потолок.

«Надо его просто побелить», – подумал Сергей и на следующий же день явился с двумя малярами, стариком и вертлявым мальчишкой с бельмом на глазу.

Старик, посапывая, долго смотрел на потолок и стены, потом сказал:

– Что ж тут белить? Тут надо целый ремонт делать. Обои-то еще довоенные. В тридцать пятом такие продавали. Содрать надо. Все равно заляпаем. И двери покрасить.

Сергею эта мысль понравилась. Немногочисленные вещи были вынесены в коридор, старые обои содраны и сожжены на кухне. Через три дня комната была неузнаваема. Потолок сверкал изумительной, непередаваемой белизной, розетка посреди комнаты и лепные карнизы покрыты были легкой позолотой, а серебристо-голубые стены усеяны какими-то цветочками, которые, по мнению Сергея, должны были гармонировать с висящим над Шуриной кроватью ковриком.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Ремонт обошелся дешевле, чем в то время мог обойтись, – но, как всегда бывает, он потянул за собой еще целый ряд дополнительных расходов.

Во-первых, был куплен и повешен большой оранжевый абажур с бахромой, отчего комната сразу приобрела тот уют, которого, как казалось Сергею, ей еще не хватало. Во-вторых, на толкучке была приобретена крохотная настольная лампа с красным пластмассовым абажурчиком, а к кровати проведен специальный штепсель, так что теперь, засыпая, Шура могла не бегать каждый раз к двери тушить свет. Кроме того, на стену был повешен большой портрет Пушкина, паркет начищен до зеркального блеска, стол накрыт новой клеенкой, перила на балконе выкрашены небесно-голубой эмалевой краской, а шарики на перилах – белой.

Все получилось очень красиво, маляры были знакомые и за работу взяли по-божески, – и Сергей с нетерпением стал дожидаться Шуриного возвращения. В письме Шура написала, что приедет пятнадцатого, но приехала только восемнадцатого, и три дня Сергей с непонятным замиранием сердца подходил к Шуриной двери.

«Что за чепуховина? – думал он, поднимаясь по лестнице на пятый этаж. – И с чего бы это я так...»

Он был растерян. Дожив до двадцати четырех лет, он ни разу не влюблялся, с женщинами держался просто и грубо, как с товарищами, но не отдавал им той любви, которую отдавал товарищам. И вот теперь, встретившись вдруг с женщиной, в которой он увидел совсем не то, что видел в женщинах до сих пор, он вдруг растерялся.

Он сам не понимал, что происходит. Ему казалось, что он просто жалеет Шуру, что ему обидно за нее, за то, что Николай ее не понимает, а когда Николай ушел, по-настоящему рассердился на него. Но что все это и есть любовь, этого он не понимал.

Тем не менее, получив от Шуры письмо – несколько строчек о том, что она много работает и, вероятно, раньше чем через две недели не вернется, он столько раз его перечитывал, что под конец, кажется, выучил наизусть. Прибирая комнату после ремонта, он по несколько раз перекладывал Шурины вещи и стащил даже маленькую фотографию, лежавшую на столе под стеклом, на которой Шура была снята на трехколесном велосипеде. На этой карточке Шуре было всего семь лет, но выражение лица было совсем такое, как и теперь, когда она чему-нибудь радуется, – сияющее и чуть-чуть удивленное.

Когда Шура приехала, первыми ее словами было:

– Ну зачем ты это сделал? Зачем, спрашивается?

Сергей мрачно молчал, покручивая ус.

– И во сколько это тебе обошлось?

– Во сколько надо, во столько и обошлось.

– И абажур этот. Он стоит триста рублей, я знаю. И не говори мне, пожалуйста, что тебе его подарили. Ты заплатил за него триста рублей, сознайся!

– Сколько надо, столько и заплатил.

– Сумасшедший, честное слово, сумасшедший! Лишние деньги завелись? Так и знай – буду тебе из каждой полочки выплачивать.

– Что ж, выплачивай, – согласился Сергей.

– И буду. А что ты думаешь?

– А я и не протестую. Дело хозяйское.

Потом они пили чай на новой клеенке. Шура все время дразнила Сергея, говорила, что к голубым стенам нельзя было покупать оранжевый абажур, что клеенка пластмассовая и скоро покоробится. Сергей был мрачен и молчалив. Ушел около двенадцати, сказав на прощание:

– О перила пока не облакачивайся. Там краска еще не просохла.

Шура обещала не облакачиваться, проводила Сергея до двери, потом вернулась, зажгла свою новую лампочку с красненьким абажуром и до часу ночи читала. Лампочка ей очень понравилась. Вообще она была рада, что вернулась.

– 18 –

Сергей вставал рано. Когда надо было идти ругаться в главк, можно было встать и попозже – в учреждениях работа начиналась в девять. Но если ругаться было не с кем, встать приходилось в шесть. Аэроклуб, как и все аэроклубы, находился за городом, возле аэродрома, и чтоб не канителиться с попутными машинами, Сергей ездил туда автобусом, который отправлялся от Аэрофлота в семь утра.

Большинство ребят днем работало, но те, что были в отпуску, весь день проводили в аэроклубе. К четырем-пяти стекались и остальные. Строительство шло полным ходом. Ребята оказались азартными и предприимчивыми. Чего не могли достать Сергей и Сененко официальным путем, ребята доставали неофициальным. Среди хлопцев оказался и шофер, так что транспортный вопрос тоже решился сам собой. Кое в чем помогли летчики с соседнего аэродрома – здесь уж Сергей проявил инициативу. Одним словом, к первым морозам сарайчик, именуемый ангаром, с двумя пристроенными к нему «аудиториями» был готов, а в скором времени «в аудиториях» появились и первые учебные пособия. Все ходили измазанные маслом и краской. Впереди была зима, но говорили уже о весне и первых тренировочных полетах.

Так проходил день. Часам к семи Сергей говорил: «Ну что ж, пора закругляться. Жучков, покомандуй тут за меня», – и, скинув комбинезон и помыв руки бензином, отправлялся к Шуре. Правда, случалось это теперь не каждый вечер. Более того, если раньше Сергей приходил «просто так», «от нечего делать», и целый вечер сидел на балконе в плетеном кресле, то теперь он всегда являлся под каким-нибудь предлогом: то ему книжка нужна была – не может ли Шура спросить в своей библиотеке, то вернуть эту самую книжку, то узнать что-то у соседки Ксении Петровны.

Шура всегда была рада его приходу, но почему-то, когда бы он ни пришел, обязательно была чем-то занята: то стирка, то глажка, то недоделанная чертежная работа. Вытянуть ее из дому не было никакой возможности. Вообще с Сергеем она держалась сейчас иначе, чем раньше. Разговаривая с ним, начинала вдруг дразнить его, попрекать разбросанными по всей комнате окурками, смеяться над его привычкой сидеть в плетеном кресле, положив ногу на перила. Сергей огрызался, но чувствовал себя почему-то неловко и, посидев с полчаса, начинал прощаться. Шура его удерживала, но он говорил, что ему завтра рано вставать, да и Шуре тоже, и уходил.

Как-то раз ему все-таки удалось вытащить Шуру в Дом офицера – кажется, в День артиллерии. Сначала все шло хорошо. Показывали хроникальную картину «Оборона Сталинграда». Сергей с удовольствием узнавал знакомые места и даже стал рассказывать какие-то военные эпизоды, что с ним случалось довольно редко. Но потом, когда начались танцы и какой-то молодой человек с подбрityми усиками пригласил Шуру танцевать, Сергей надулся и до самого конца не проронил ни слова.

Больше в Дом офицера он Шуру не приглашал.

И заходить стал реже. Даже аэроклубовские ребята заметили.

– Что-то вы, Сергей Никитич, по вечерам стали задерживаться. Раньше, как только семь часов, сразу за бензинчик, а теперь...

Сергей делал вид, что не понимает намека.

– Да вот мотор этот. Хочу с ним разделаться, – и возился с ним еще добрый час.

Потом возвращался домой, валился на свою койку, смотрел в потолок и курил.

«Черт его знает, – думал он, – вот так вот и околеешь в этой дыре! Собачья жизнь. И выпить даже не с кем. Ни денег, ни компании. Собачья жизнь, одно слово, собачья...»

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Правда, случай вскоре подвернулся. Возвращаясь как-то из аэроклуба, Сергей столкнулся на улице со своим старым приятелем еще по авиационному училищу, Толькой Лукониным. Зашли в ресторан. Не виделись они года три, а то и больше. После окончания училища Сергей и Анатолий попали на разные фронты – Сергей на Юго-Западный, Анатолий на Центральный, потом воевал в Польше, Германии. Сейчас вернулся из Австрии, ждал демобилизации.

В училище Луконин был худеньким, прыщавым парнишкой, которого прозвали «голоусик», – на верхней губе, несмотря на все ухищрения и старания, у него ничего не росло. Сейчас это был рослый, румяный, увешанный орденами детина, поминутно оглядывавшийся на девиц. Заграничную жизнь он ругал, говорил, что скучно, что хочется домой, но время от времени поглядывал на хорошенькие часики на стальном браслете и несколько раз, ища что-то в кармане, вынимал и клал на стол похожую на сигару самопишущую ручку.

Сергей молча слушал и заказывал еще пива. Из ресторана вышли в третьем часу ночи, когда в зале уже потушили свет. Машин на улице не было, пошли пешком. Днем моросил дождь вместе со снегом, к вечеру подмерзло. Сергей поскользнулся, упал и растянул связки на ноге.

Часто потом, вспоминая этот вечер, Сергей, смеясь, говорил, что причиной всех происшедших после этого перемен в его жизни был Толька Луконин. Не встретить он его тогда на улице, он не попал бы под дождь, и не упал бы, и не провалялся бы неделю дома, и к нему не пришла бы Шура, и не заахала бы, в какой дыре он живет, и кто же его обслуживает, кто убирает, кто стирает белье.

Шура пришла к нему на четвертый день его лежания и тут же, в отместку за ремонт, выкинула все окурки из комнаты, достала у соседей ведро и тряпку, вымыла пол, затем всю посуду.

Сергей, лежа на своей скрипучей койке, следил за Шуриными движениями и говорил:

- Бессмысленная трата времени. Все равно завтра опять закидаю.
- А я тебе блюдце для окурков поставлю.
- Привычки нет. Люблю на пол.
- Заберу тогда папиросы.
- Попробуй.
- А чего мне пробовать – заберу и все. Где твоё белье?

Белье оказалось под кроватью. Шура вытащила оттуда все рубахи и прочие принадлежности и связала их в небольшой узел.

- И чему вас в армии только учили? Летчик, называется, старший лейтенант.

Через два дня она принесла белье выстиранным, выглаженным и аккуратно, стопочками, уложила его в чемодан. Потом покрыла стол принесенной из дому скатертью и разложила на ней ужин – плавленый сыр и консервированное мясо.

- И это все? – с тоской в голосе спросил Сергей.

– Все.

- Как же это все в глотку без смазки полезет?

– Ничего. С чаем полезет. Господи, неужели у тебя чайника нету?

Шура пошла к соседке за чайником, а Сергей тем временем, порывшись под кроватью, выудил оттуда недопитую четвертинку.

Весь вечер Шура возмущалась, как может Сергей так жить.

- Грязь, сырость, смотреть даже противно! И солнце здесь, наверно, никогда не бывает. Я б с ума сошла в такой комнате...



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

- В землянках похуже было, - оправдывался Сергей.
- Так то землянки, а то комната. Война уже кончилась.
- Как для кого...
- Не говори глупостей.
- Разве это глупости?
- Конечно, глупости. У тебя есть работа, хлопцы. Хорошие хлопцы. И работа хорошая.

Сергей улыбнулся.

- Ну? Еще что?

Шура вдруг покраснела.

- А чего тебе еще надо? Честное слово, я никогда не видела таких нытиков, как ты. Все ему не нравится. Осоавиахим не нравится, аэроклуб не нравится... Все ему не нравится...

Сергей поморщился, почесал нос и сказал:

- Почему все? Вовсе не все...

Шура старательно вынимала вилкой консервы из коробки.

Сергей вдруг рассмеялся.

- Да выпей ты водки, черт тебя возьми, - и протянул ей свой стакан.

Шура стала протестовать, замахала руками, но выпила.

- И кто ее придумал только... Бр-р... - и тут же стала поносить всех пьяниц, в том числе и Сергея, доказывая, что только непьющие, порядочные люди умеют устраивать свою жизнь, а такие, как Сергей, потому и живут в таких дырах, что думают только о водке.

- Да я вовсе не думаю о ней, - сказал Сергей. - Я просто ее пью.

Шура злилась, а Сергей только улыбался, - ему нравилось, как Шура на него злится.

На следующий день Шура опять пришла, и они опять поссорились, то есть Шура опять его в чем-то обвиняла, а он смеялся и не соглашался.

На третий день произошло то же самое. Уходя, Шура даже хлопнула дверь.

А через неделю Сергей переехал к Шуре, вернее перешел: кроме чемодана с бельем, стакана и двух тарелок, у него ничего не было.

#### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

- 1 -

Небольшая, восьмиметровая комната общежития, в которой жил Николай, имела весьма странный вид. Во-первых, она была круглая - первое неудобство, так как разместить в круглой, да еще восьмиметровой комнате четыре койки, стол и стул - минимальное, что нужно четверым живущим в ней студентам, - оказалось задачей почти неразрешимой. Во-вторых, находилась эта сама по себе нелепая комната в еще более нелепой башенке, прилепленной архитектором к углу дома, очевидно, только «для красоты», так как ничего более полезного при всем желании найти в ней нельзя было (чтоб попасть в нее, надо было пройти весь чердак и подняться еще по винтовой лестнице). Наконец, в-третьих, в комнате этой был собачий холод - отопления в ней не было, а три узких окошка, выходивших на восток, юг и запад, с видом на занесенные сейчас снегом крыши, Багринову гору и далекую Шулявку - вид чудесный, ничего не скажешь, - создавали идеальные условия для сквозняков.

Одним словом, комнатенка была среднего качества, и если Громобой, обнаруживший ее во время субботника по чистке чердака, ухватился за нее, так только потому, что у нее было одно неоспоримое преимущество – она была изолированной. В общежитии это кое-что да значит.

После недолгих, но бурных переговоров с комендантом и заместителем директора ломаная мебель и какие-то листы фанеры, бог его знает для чего хранимые там комендантом, были выкинуты на чердак, и в «башне» поселились Николай, Громобой, Антон Черевичный и Витька Мальков – невозмутимый, флегматичный парень, примечательный главным образом тем, что, получая из дому посылки – а получал он их довольно часто, – он сразу же, не откладывая дела в долгий ящик, съедает половину.

Обстановка «башни», кроме упомянутых уже шести предметов – четырех коек, стола и стула, состояла еще из двух чертежных досок, двух десятков книг и электрической плитки, заменявшей отопление. Против плитки комендант пытался было возражать и даже пригрозил, что перережет проведенную Черевичным по чердаку проводку, но Громобой просто-напросто выставил его, не вступая в переговоры.

Комендант больше не являлся.

Днем комната пустует. Жизнь начинается ночью. Плитка придвигается поближе к столу, и так как четверым сразу заниматься невозможно, Антон с Мальковым сидят от ужина до двенадцати, Николай – от двенадцати до двух-трех часов ночи, а Громобой – с пяти утра до начала занятий. Днем времени не хватает.

От двенадцати до трех – это самые тихие часы. Громобой и двое остальных похрапывают, в углу скребутся мыши, сквозь полузамерзшее окно видны дрожащие огни вокзала. Накинув на плечи шинель, время от времени грея над плиткой руки, Николай сидит над «Высшей математикой» Привалова, шелестит страницами, курит.

И вот тут-то, где-то между вторым и третьим часом ночи, на смену эллипсам и параболам приходит то, что за последние месяцы отодвинулось куда-то далеко-далеко институтской жизнью, новыми товарищами, новыми интересами, заботами, волнениями.

Почему все так произошло? И кто в этом виноват? И виноват ли вообще кто-нибудь в чем-нибудь? И стоит ли об этом думать, возвращаться к этому?

Стоит или не стоит, но возвращаешься.

Вот жил он когда-то с Шурой. И любил ее. И она его. И ничего им больше не надо было. Потом воевал. Потом вернулся назад. Оказался Федя... Нет, об этом не надо говорить – Федя здесь ни при чем, – просто это было тем первым, что помешало. Именно помешало, осложнило, не больше. Большим было другое. Иногда Николай думает, что причиной всему – три года разлуки. Он воевал, Шура ждала. Сжалась в комочек и ждала. Он узнал что-то новое, большое, настоящее, а Шура только ждала. И, как всякий человек, для которого прошлое лучше настоящего, она мечтала об этом прошлом. А он хотя тоже мечтал о нем, но вдруг, столкнувшись с ним, понял, что оно для него тесно, не хватает воздуха... Нет, и это не то. Чепуха все это, выдумки! Совсем не так это было. Шура за три года поняла не меньше, если не больше самого Николая. Не надо оправдывать себя, придумывать то, чего не было на самом деле.

Шуры больше нет, и не вспоминай о ней. И о Вале не вспоминай. Она тебе прямо сказала – ей неприятно с тобой встречаться. Ты спрашиваешь – почему? А ты не спрашивай. Не задавай вопросов. Перед тобой Привалов – вот и читай его. Завтра спросят, опять знать не будешь...

Маленькая, совсем крохотная мышка появляется вдруг из-под кровати. Поводит носом, смотрит на Николая. Это старая его знакомая. Она всегда в это время появляется из-под кровати, к чему-то долго прислушивается, потом по одеялу вскарабкивается на кровать, с кровати на окно – к тому месту, где лежит завернутый в газету хлеб и колбаса на завтрашнее утро. Ужинает.

Николай тушит свет. Пришла мышь – пора спать. Поплотнее укутывается одеялом – из окна немилосердно дует, – на какую-то крохотную долю секунды вспоминает, что

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
завтра, до лекций, надо провести политинформацию, а в четыре часа... Но до четырех часов дело не доходит. Николай спит.

– 2 –

Кончился первый семестр. С двадцать пятого января начались каникулы. Самое приятное в них то, что можно отоспаться. И все отсыпаятся, отсыпаятся вовсю.

Отсыпается и «башня». Встают в десять, а то и в одиннадцать, не торопясь умываются, ввели зарядку. Потом не торопясь завтракают, чистят сапоги, пришивают подворотнички. Потом расходятся. Громобой завел себе какую-то даму и по вечерам, а иногда даже и по утрам, пропадает у нее. Витька Мальков поехал домой. Антон тоже было собрался, но потом почему-то раздумал, очевидно из-за денег, и целыми днями занимается благоустройством «башни». Вместо плитки он сделал специальный обогревательный прибор из обмотанной проволокой канализационной трубы, развесил по стенам – «чтоб красивее было» – какие-то плакаты (один из них – колхозник и колхозница, призывающие подписаться на заем, – оказался Муниной работы, и это очень обрадовало Николая), провел настольную лампу и радио – одним словом, целый день был занят. Николай помогал ему – он тоже любил такую возню – или, пристроившись у печки, читал. По вечерам, когда не был занят на агитпункте, ходил в кино, несколько раз был на катке, – зима была сухая, снежная, хорошая.

Не обошлось и без маленького торжества – тридцать первого января, в день третьей годовщины победы под Сталинградом. Начали дома, потом, как обычно, потянуло в ресторан. Денег не было, но в таких случаях они всегда находятся, нашлись и сейчас, и хотя их было немного и перед заказом пришлось на обратной стороне меню сделать кое-какие подсчеты, время в «Театральном» прошло неплохо. Наперебой вспоминали, немного привирая (по этой части особенно силен был Громобой), потом подсели к каким-то морячкам, – те тоже особой скромностью в своих воспоминаниях не отличались, – вместе с ними заказывали фронтовые песенки, потом танцевали, здесь опять же на первом месте оказался Громобой.

Часов в одиннадцать Громобой заторопился вдруг к своей даме. Антон тоже встал – пора уже. В Николая вцепился лейтенант-моряк.

– Идем ко мне! Я тут недалеко. Комната отдельная. И хозяйка ничего. И патефон есть, – на это он особенно напирал. – И пластиночки...

Пошли. Но хозяйки, которая «ничего», дома не оказалось, пластинки, выяснилось, все старые и наполовину перебитые, да и вообще стало вдруг скучно. Николай посидел минут десять, выслушал довольно скучную историю о какой-то девице, с которой лейтенант недавно познакомился и не знал, что дальше с ней делать, совета никакого не дал, распрощался и ушел.

Вышел на улицу. Кругом пусто. Ветер раскачивает фонари, крутит сухой, рассыпчатый снег. Николай пошел вниз по бульвару. Знакомый бульвар. И дома знакомые. Четырнадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый номер. Двадцатый... На ступеньках подъезда стоит парочка – парень в шинели и девушка в короткой жакетке с меховым воротником. Лиц не видно. Целуются...

Уже поздно – в окнах нет света. Только в одном, на пятом этаже, еще светится. Из него, из этого окна, виден почти весь город – от купола музея до колючих башен костела и разбросанных среди Голосеевского леса белых корпусов лесного института. Сейчас построили дом напротив, и костела, вероятно, уже не видно.

Николай стоит и смотрит на светящееся окно. Зачем он пришел? Ведь все кончено. Давно уже кончено. Совсем кончено... И о чем им говорить? Посидят, помолчат, и все... Зачем же он пришел? Вверху, в окне, как будто дрогнула занавеска. Зачем, зачем... Да низачем. Просто так. Просто хочется ее видеть, больше ничего.

Николай проходит мимо парня и девушки – те даже не оборачиваются, – подымается по лестнице, останавливается перед дверью с почтовым ящиком, на котором написаны три фамилии. Нажимает голубенькую кнопку. Тишина. Потом шаги. «Вам к кому?» Щелкают запоры – крючок, задвижка, цепочка. В дверях Ксения Петровна в накинутом на плечи платке.

– Здравствуйте, Ксения Петровна. Не узнаете?

– Здравствуйте, – говорит она. – Узнаю, почему же? – и больше ничего не говорит.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

Николай захлопывает дверь, проходит по коридору, сворачивает направо. Стучит в дверь.

– Да, – отвечает мужской голос.

Николай входит. За маленьким письменным столом, спиной к нему, сидит Сергей. Он полуобернулся, но голова его заслоняет лампу, поэтому лица его не видно.

Николай делает несколько шагов.

– Ты здесь? – говорит он.

– Здесь.

Голос у Сергея глухой, слегка охрипший.

– Садись, – говорит он.

Николай садится. Садится на стул возле стола. На столе новая клеенка. Чайник, покрытый матрешкой, кусок хлеба. Повидло в баночке. На стуле шитье с воткнутой иглой, моток ниток, ножницы. Совершенно источившийся ножик – жив еще... А этажерка почему-то передвинулась вправо. И Пушкина этого не было.

– Чай будешь? – спрашивает Сергей.

Он встал из-за стола. Стоит, опершись на него, смотрит на Николая. Николай – на него. В глазах Сергея – серых, обычно чуть-чуть хитроватых – недоверие, настороженность. Оба молчат.

Так вот оно что! А он и не знал. Ничего не знал. Не догадывался даже. Эх, Сергей, Сергей...

В комнату входит Шура. На ней вязаная кофточка, на шее сантиметр. Николай пожимает протянутую руку. Рукопожатие очень короткое – Шура сразу разжимает пальцы.

– Ты похудел, – говорит она и смотрит на Николая.

А она нет. Даже пополнела. Немного переменяла прическу, сейчас у нее посредине головы ряд. Взгляд совсем спокойный, хотя по плотно сжатым губам Николай догадывается, что она все же волнуется.

Шура берет со стола чайник.

– Будешь пить? Я сейчас разогрею.

– Спасибо, – говорит Николай, хотя ему совсем не хочется.

Шура направляется к двери. В дверях оборачивается.

– Может, есть хочешь?

– Нет, есть не хочу.

Шура выходит.

Сергей топчется на одной ноге вокруг стола, сметает крошки, переставляет зачем-то тарелки. Потом подсаживается к Николаю на кровать. Молчит. Слышно, как в кухне шипят примусы. Потом Сергей говорит:

– Сам не верю, колька... Не верю, нет! Иной раз... – радостная, растерянная улыбка появляется вдруг на его лице. – Что ни скажет, все делаю. Скажет – не пей, не пью. Ребята приглашали – отказался. Не веришь? – Он обнимает Николая рукой, притягивает к себе, говорит в самое ухо: – А ведь никого на свете не любил, никого...

Несколько секунд они молчат. Потом Николай говорит:

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Я рад за тебя, Сережка. И за Шуру рад... По-настоящему Рад.

Он говорит это очень тихо, не глядя на Сергея. В эту минуту ему действительно кажется, что он рад, – рад за Сергея, за Шуру и за себя рад, что видит Сергея, что сидит рядом с ним.

Опять пауза. Обоим немного неловко.

– Ну, а ты как? – спрашивает наконец Сергей. – Ведь мы не виделись с тобой...

– Полгода. С августа. С той вечеринки.

– Да, полгода.

– Я заходил к тебе.

– Туда? В дыру?

– Там бухгалтер какой-то теперь живет.

– Ну и пес с ним... А ты где?

– В общежитии.

– В общежитии? – Сергей слегка отодвигается, внимательно смотрит на Николая.

– В общежитии. Заходи. Ребята у меня хорошие.

Сергей, видимо, хочет еще о чем-то спросить, но не спрашивает.

Возвращается Шура с чайником. Ставит его на стол. Все тот же медный, с припаянным носиком.

– Жаль, вкусного ничего нет, – говорит она. – Халву и то съели. Целую неделю лежала.

Николай по привычке садится на то место, на котором обычно сидел, спиной к двери. Потом пересаживается поближе к балкону. Пьют чай. Разговор самый обыкновенный. Как работа? Как Беленький? Беленького уже нет, на его месте другой, как будто ничего. А работы по-прежнему, даже больше прежнего, много сейчас строится. А Сергей? Все еще в своем Осоавиахиме? Да нет уж, давно расплевался. Молодежь в аэроклубе воспитывает. Смешно? А вот воспитывает. И неплохо воспитывает. Ты не смейся. Спрашивали даже, почему в партию не вступает, да, да, на прошлой неделе Сененко спрашивал.

Вот каким стал товарищ Ерошик, а ты говоришь! За это и выпить не грех, а?

Но Шура не разрешает. Поздно, нельзя. Завтра вставать в семь.

Сергей вздыхает:

– Видал?

Николай смотрит на часы.

– Ты что смотришь? Не смотри.

– Пора. У нас в двенадцать дверь закрывают. Дисциплина.

– А может, все-таки... – Сергей почесывает шею чуть пониже подбородка. – Сбегать к старику Платонычу? А? У него всегда есть, он ею зубы лечит.

– Никаких Платонычей, – говорит Шура.

Сергей вздыхает.

– Вот она, семейная жизнь...

Николай встает, прощается.

– Заходи, – говорит Шура.

Николай кивает головой: обязательно, как же.

Сергей провожает его до двери.

– Как-нибудь вырвусь к тебе в общежитие. Вечерком как-нибудь, в субботу или воскресенье. – И опять стискивает его за плечи. – Эх ты, студент-одиночка, капитан...

Николай крепко жмет ему руку. Спускается по лестнице. На улице ветер гонит по сухим тротуарам снег. Начинается метель. Николай поднимает воротник.

Ну вот и все. Совсем как тогда на лужайке. А почему у тебя гипса нет, как кормят, как лечат?

А за Сергея он рад. По-настоящему рад. И за Шуру тоже. Ну конечно же тоже...

– 3 –

На втором семестре добавляется четыре новые дисциплины. Строительные материалы, теоретическая механика, инженерно-строительное черчение и иностранный язык. По иностранному можно выбрать одну из двух групп – немецкую или английскую. Большинство, в том числе и Громобой с Черевичным, выбирают английскую (немецкий и за войну надоел, ну его!), Николай – немецкую. Английскую ведет Валя.

День уплотняется еще больше. Ни на что уже не остается времени. Даже пообедать и то не всегда успеваешь. А тут еще подошел как-то к Николаю Чекмень и, взяв его за локоть, отвел в сторону и сказал, что хочет рекомендовать его в факультетское партийное бюро. Николай только руками замахал.

– Ты что, спятил? Да где ж я время найду? И кто заниматься за меня будет?

– Ничего, потянешь. Парень ты двужильный. А нам как раз такие, как ты, нужны в бюро – фронтовики настоящие хлопцы. На кого ж опереться, если не на вас.

Но Николай категорически отказался. До второго курса пусть его не трогают, пусть дадут крепко на ноги стать, нельзя же все сразу...

Чекмень покачал головой, сказал: «Жаль, жаль, а то поддержали б твою кандидатуру», – и отошел.

Николай немного слукавил. За эти несколько месяцев он, правда, не очень еще прочно, но на ноги все-таки стал. Появилась даже какая-то уверенность. Исчез невольный страх перед логарифмами и интегралами. В том, что совсем недавно казалось случайным набором цифр, стала улавливаться закономерность, стройность, стало даже интересно. На смену вечным тройкам начали появляться первые, не частые еще четверки. Случилась даже одна пятерка. Правда, одна, и то по строительным материалам, самому легкому из всех предметов, но Николай радуется ей не меньше, если не больше любого школьника-четвероклассника. «Ну, как сегодня?» – спрашивают его. «Порядок, на счету уже пятерочка», – и в голосе его чувствуется та же чуть-чуть небрежная и самодовольная интонация, с которой года три тому назад он докладывал, по телефону: «Порядок, товарищ пятый, отвоевали железнодорожную будку, закрепляемся».

Из новых дисциплин больше всего нравится Николаю курс строительных материалов. Может быть, потому, что курс этот нетрудный (слава богу, никаких формул!) и много времени в нем уделяется лабораторным занятиям, которые студенты всегда предпочитают теоретическим, но вероятнее всего потому, что читает его профессор Никольцев.

Высокий, худой, с чуть наклоненной набок головой и копной совершенно белых, отливающих желтизной волос, откинутых назад, в черном, наглухо застегнутом френче, какие носили еще в двадцатых годах, он с немного виноватым видом входил в аудиторию (Никольцев всегда почему-то опаздывал), клал на стол свой до отказа набитый чем-то портфель с оторванной ручкой, подходил к окну, как будто

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru рассматривая что-то на улице, потом поворачивался и начинал читать лекцию. Нет, чтением это нельзя было назвать. Это был разговор. Тихий, спокойный рассказ о том, например, как где-то под Парижем какой-то садовник, делая из цемента кадки для растений, решил для прочности ввести в цемент металлическую сетку. Так родился железобетон – материал, вызвавший в строительном искусстве переворот, равный, как говорил Никольцев, перевороту, вызванному появлением паровой машины и электричества. И тут же вынимались из громадного портфеля фотографии мостов, арок, вокзалов, и оказывалось, что этот мост он строил еще студентом в тысяча восемьсот каком-то там году, а это перекрытие чуть не рухнуло, так как подрядчик торопился и не выдержал положенного срока, а это вот незначительное как будто сооружение выдерживало удары одиннадцатидюймовых японских снарядов. Константин Николаевич указывал длинным подагрическим пальцем на пожелтевшую фотографию, где группа круглолицых, с маленькими закручивающимися усиками солдат, в лихо сбитых набок бескозырках, стояла возле какого-то сооружения, напоминающего капонир. А рядом с ними тоненький офицерик с бородкой клинышком – сам Никольцев.

Оказывается, этот, такой комнатный и мирный на вид старик не только был участником двух войн – японской и немецкой четырнадцатого года, но даже в числе тех немногих офицеров, которые после обороны Порт-Артура отказались дать честное слово не воевать против японцев, более года провел в плену.

Обо всем этом Константин Николаевич не успевал, конечно, рассказывать на лекции, но так как на эти темы, как и всем старикам, ему поговорить хотелось, а ребята не прочь были послушать («старик-то, старик, даже японского императора видел!»), то доканчивать ему приходилось обычно уже на улице, а то и дома.

– Вы не очень торопитесь! – говорил он, останавливаясь у своих дверей, всегда немного смущаясь, наклонив голову набок, глядя на своих попутчиков. – А то, может, заглянете? Попьем чайку, поболтаем.

Многих соблазняло именно это «попьем чайку» (у старика он подавался за маленьким круглым столиком, очень крепкий и всегда с каким-нибудь печеньем или пирогом), но Николай оба раза, которые был у Никольцева, от чая отказывался, – уж очень выразительно подкусывала губы старуха нянька, с которой жил одинокий Никольцев, – и ограничивался воспоминаниями и рассматриванием коллекций, которыми заполнена была вся комната.

Молодежь остается молодежию – над стариком иногда подсмеивались. Он повторялся, по несколько раз рассказывая одно и то же и часто вставляя одни и те же слова в уста различных людей, но подсмеивались любя, интерес к его лекциям от этого не уменьшался, и только на них (если не считать теоретической механики, но там больше из страха) никто никогда не читал посторонних книг и не играл в самодельные шашки. К тому же у Никольцева была еще одна незаменимая черта, за которую его нельзя было не любить, – он никого никогда не резал. «Дело не в ответе, а в заинтересованности предметом, в том, как вы воспринимаете его», – говорил он и ставил студенту тройку или четверку, которых, по совести говоря, тот не всегда заслуживал.

Одним словом, старика любили. Поэтому, когда в середине второго семестра по институту поползли вдруг слухи, что профессор Никольцев якобы уходит на покой, что строительные материалы будет читать его ассистент Духанин (он знал свое дело, но был «скучняком», как называли его студенты, и забывал делать перерывы), а кафедра перейдет в руки кого-то, кого – еще неизвестно, но, во всяком случае, Константин Николаевич заведовать ею уже не будет, никто этим слухам не поверил. Чепуха! Какой там покой! Да он без студентов сразу зачахнет. Придумают же еще...

Но через несколько дней слух этот – косвенно, правда, – подтвердился. Произошло это на факультетском собрании. С докладом, подводившим кое-какие, пока еще лишь предварительные, итоги учебного года, выступил Чекмень. В обычной своей полушутливой-полусерьезной манере (он знал, что она нравится студентам, поэтому его всегда и слушают и не выходят в коридор курить) он говорил, что факультет, в общем, «не подкачал», справляется со сложными задачами первого послевоенного года, что успеваемость на факультете не только не осталась на уровне довоенных лет, – «а мы, скажу вам по секрету, боялись мечтать даже об этом», – но возросла, что первый курс – «опять же по секрету скажу, мы не очень-то в него верили», – в общем, не так и плох, что надо только не снижать раз набранного темпа и мобилизовать все свои силы, чтобы добиться наилучших показателей.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
– Кстати, – заканчивая свое выступление, сказал Чекмень, – воспользуюсь случаем, чтобы обрадовать вас всех приятной новостью. Несколько дней тому назад прибыло новое штатное расписание, и мы имеем теперь возможность расширить и укрепить наши преподавательские кадры новыми, молодыми, вернувшимися сейчас из армии научными силами. Думаю, что все мы будем только приветствовать это новое пополнение.

Он хлопнул папкой по кафедре и, сойдя с нее, сел на свое место возле стола. Предчувствуя скорое окончание, зал оживился.

Николай повернулся к Левке.

– Пахнет Никольцевым. Как по-твоему?

– Ну и бог с ним! – Левка полез за папиросами. – Пошли курить.

Из президиума донесся голос председателя:

– Будут вопросы по докладу декана?

– Все ясно, – проворчал Левка, – кончать пора.

Сзади кто-то сказал:

– У меня есть вопрос. Можно?

– Прошу.

Поднялся тонколицый, бледный парень, кажется со второго курса.

– Мне хотелось бы, чтобы декан уточнил заключительную часть своего доклада, – сказал он, пытаясь перекрыть возникший в зале шум. – И что подразумевает он под словом «пополнение»?

Чекмень встал и, опершись о стол, посмотрел в конец зала, где сидел парень.

– Мне кажется, я достаточно ясно сказал. Руководство предполагает пригласить ряд специалистов, которые пополнили бы наш профессорско-преподавательский состав. Разве это непонятно?

– А кого и по каким дисциплинам? – опять спросил парень. – И думают ли заменить кого-нибудь, или это только пополнение?

В зале стало вдруг тихо. Выходившие остановились в дверях.

Чекмень улыбнулся и немного театрально развел руками.

– Чего не знаю, того не знаю. Но думаю, что всякое пополнение влечет за собой и известное перемещение. И ничего удивительного здесь нет. Я думаю, мне не надо доказывать вам, что преподавание, иными словами воспитание людей, вещь не легкая. Не правда ли? Дело не только в знаниях. Знания знаниями, но нужен еще и известный политический кругозор. Нужно умение отвечать новым требованиям, повышенным требованиям..

– Конкретнее, – раздался сзади чей-то голос.

Чекмень повернулся в сторону крикнувшего.

– Конкретнее, к сожалению, ничего не могу вам сказать. Чего не знаю, того не знаю, – и сел, давая понять, что с этим вопросом покончено.

Задвигали стульями, стали выходить.

– Никольцев. Факт, – сказал Николай.

Левка пожал плечами.

– Иди разберись, – он посмотрел на часы. – Ты куда сейчас?



– Домой.

– А может, ко мне сходим? Мать там что-то готовит. По случаю шестидесятилетия моего родителя.

В дверях показался Алексей. Увидел Николая, через головы кивнул ему.

– А что, если я у него спрошу? – сказал Николай. – Мне-то он скажет.

– Ничего он тебе не скажет.

Левка оказался прав. Алексей куда-то торопился.

– Прости, дорогой, спешу. Зайди ко мне завтра утречком, перед лекциями, ладно? – и слегка хлопнул Николая по плечу. – Ну и любопытные же вы, черти, спасу нет...

– 4 –

С этого, в сущности, все и началось.

Началось то, на отсутствие чего жаловался как-то на одном из партсобраний Хохряков, секретарь факультетского партбюро.

– Замкнулись вы, товарищи, в себе, – говорил он тогда, – замкнулись каждый в своей группе, на своем курсе. Не живете жизнью своего института. Загрузкой оправдываетесь. Но загрузка загрузкой, а жизнь жизнью. Если уж очень нажмешь на вас, выпустите раз в год стенгазету, да и то ее только мухи читают, вызовете кого-то там на соревнование, и точка – никто этого соревнования не проверяет. Нельзя так, товарищи, надо шире жить. Большой институтской жизнью жить.

Трудно сказать, что подразумевал Хохряков, когда говорил о «большой институтской жизни» – то ли, что надо выпускать стенгазету, которую не только мухи читали бы, то ли систематически проверять соцсоревнование, – одним словом, никто так и не понял, на чем он настаивал. Но в одном он был безусловно прав: группы действительно жили обособленно, каждая внутри самой себя.

Николай, например, кроме своей, знал еще параллельную группу и кое-кого со второго курса, знал своих преподавателей, Хохрякова и четырех членов бюро, знал Чекменя и его секретаршу Софочку – миловидную блондиночку, у которой всегда можно было узнать, что происходило на деканате, – и этим, собственно говоря, и ограничивался круг людей, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Где-то там «наверху», за обитой клеенкой дверью директорского кабинета и в кабинетах его заместителей, составлялись какие-то планы, происходили совещания профессорско-преподавательского состава, кто-то с кем-то иногда там не ладил, о замдиректоре говорили, например, что он боится как огня главного бухгалтера, а тот, в свою очередь, зависит целиком от своего старшего бухгалтера, но все это на первых порах было где-то далеко «наверху», и говорилось об этом главным образом в очередях за получением стипендии. Жизнь же в основном проходила в маленькой аудитории на втором этаже, с балконом, выходящим в сад, в кабинетах – физическом и строительных материалов, да на лестнице, куда выходили покурить. Головы забиты были формулами реверберации звука, сроками схватывания цемента и ненавистными Николаю немецкими спряжениями.

Дурно это или хорошо, это уж другой вопрос, – но так было.

С этого же дня – самого обыкновенного, ничем не отличающегося от других дней, когда Чекмень выступил со своим докладом, – начались в институте события, которые вовлекли Николая в орбиту «большой институтской жизни».

Потом уж, много времени спустя, вспоминая эти дни, Николай, со свойственной ему привычкой обдумывать прошедшее, часто спрашивал себя: что было толчком ко всему тому, что произошло? И почему вдруг именно он оказался в центре этих событий, которые в конце концов могли пройти и мимо него?

Часто случается так, что событие – важное, серьезное событие – проходит мимо нас, а потом мы только ахаем и охаем: вот если б нам вовремя сказали!.. Возможно, такой зацепкой в этом деле послужил мимолетный разговор Николая с

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru Алексеем после собрания. Правда, на следующий день, когда Николай зашел к нему, он оказался чем-то занят, и, может, на этом и закончилось бы участие Николая, а вместе с ним и Левки, и Громобоя, и Черевичного во всей этой истории, затерлись бы в своих делах, но тут, как нарочно, подвернулся Хохряков, и, вероятнее всего, если уж искать первопричину, именно с этой встречи все и началось.

Встретились на улице. Хохряков с корзиной в руках, слегка прихрамывая – у него была прострелена левая нога, – торопливо переходил мостовую. Николай догнал его.

– Ты это куда с корзиной?

– В больницу, к жене.

– Больна, что ли?

– Третий месяц уже.

Они подошли к трамвайной остановке. Николай поговорил о жене и ребенке, потом спросил:

– Скажи, а что это за разговоры насчет Никольцева? Он что, действительно уходит от нас?

– А ну их всех... – раздраженно сказал Хохряков. – С трамваями вместе. Опять передачу не примут. Шестой час уже.

Николай удивленно посмотрел на Хохрякова – он таким его никогда не видел. Тот, по-видимому, почувствовал какую-то неловкость. Перехватив корзину в левую руку – трамвай, сплошь обвешанный людьми, появился уже из-за угла, – сказал, точно оправдываясь:

– Ничего не успеваешь за день. Как белка в колесе. – И уже из трамвая, из-за чьих-то спин, крикнул: – Вечером в партбюро буду, заходи.

А часа через два, на семинаре по марксизму, Левка Хорол сообщил Николаю:

– А ты, кажется, прав. Чекмень-то твой целый день сегодня с каким-то типом возился. С низеньким таким, в очках. Заходил в лабораторию стройматериалов, осматривал там все. Очевидно, на место старика.

– А тому известно?

Левка пожал плечами:

– Вероятно.

Сидевший впереди Быстриков, всегда все знавший раньше всех, повернулся и подмигнул хитрым голубым глазом.

– Точно. Старика побоку. Молодым кадром заменяют.

– А ты откуда знаешь?

– Знаю, – загадочно улыбнулся Быстриков и отвернулся.

После семинара Николай зашел в партбюро.

Хохряков, стоя у шкафа, складывал какие-то бумаги. Увидев Николая, кивнул головой: заходи, мол.

Хохрякову было уже сильно за тридцать. В институт он поступил, когда тот находился в эвакуации, прямо из госпиталя. Сейчас учился на третьем курсе. Это был на редкость спокойный (поэтому-то Николай и удивился сегодняшней его раздражительности), сильно окающий волжанин, с большими, как у Чапаева, усами и серьезными, немного утомленными глазами. Разговаривая, он всегда тер пальцами нос или лоб и, глядя куда-то в сторону, очень внимательно слушал. На лоснящемся от ветхости пиджаке его, над левым кармашком, приколот был орден Красного Знамени, полученный еще за Халхин-Гол. Других орденов он не носил, хотя имел их,

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru кажется, не один.

Николай сел на стоящий в углу несгораемый ящик – стульев в комнате не было, унесли на какое-то собрание и, как обычно, не принесли обратно.

– Что это за тип с Чекменем ходит? – спросил он. – В очках, лысый. На место Никольцева, да?

– А почему это всех вас так интересует? – вопросом на вопрос ответил Хохряков, продолжая рыться в шкафу.

– Кого – вас?

– Ну, тебя.

– Потому, что в институте упорно говорят, что старика убирают, поэтому и интересуюсь.

– Никто никого не убирает. Разговоры.

Хохряков вынул из шкафа папку и положил ее на стол.

– А что это за человек? – спросил Николай.

– Какой человек?

– Который с Чекменем все ходит? Ты его знаешь?

– Ну знаю. Супрун его фамилия, доцент. Чекмень его очень хвалит.

Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула бритая голова Кагальницкого, председателя профкома.

– Напоминаю о чехословаках, Хохряков.

– Помню, помню. Завтра?

– Завтра, в четыре часа. Не забудь.

Бритая голова исчезла. Хохряков посмотрел на Николая.

– Тебе тоже надо будет. Чехословацкие студенты приезжают. Надень ордена и тому подобное.

– Это зачем?

– Да так уж, для парада. Чтоб видели, кто у нас учится.

– У меня лекции.

– Лекции в четыре кончаются. А они после четырех придут.

Николай ничего не ответил. Хохряков складывал какие-то бумаги в папку.

– Ну, так как же? – спросил Николай.

– Это полчаса займет, не больше. От тебя требуется надеть ордена и побриться. И ребятам скажи. А то ходят, как обезьяны.

– Нет, я не об этом. Я о Никольцеве.

Хохряков сел, вздохнул, почесал пальцем нос.

– Ну, что Никольцев? Хороший старик Никольцев, знаю...

Николай молчал. Хохряков опять вздохнул.

– Но все вы забываете, что ему все-таки семьдесят лет.

– Иными словами...

– Иными словами... – Хохряков опять почесал нос. – Трудно ему все-таки. И кафедра и лекции. Семьдесят лет все-таки, не двадцать.

– Иными словами, старика убрать, а на его место этого очкастого.

– Почему? Старик будет по-прежнему читать лекции, а на кафедру... Ты сам понимаешь, трудно ему и то и другое...

– А с ним говорили?

– Чекмень, кажется, говорил.

– Кажется, кажется... Ничего он не говорил.

Николай почувствовал, что начинает раздражаться. Ну чего он мнется? Нос чешет, перебирает бумаги.

– Ничего он не говорил. Ручаюсь тебе! Хочешь, давай сходим к нему?

Николай встал. Хохряков глянул на часы.

– Сейчас не могу. У меня в девять бюро райкома.

– Вот всегда у вас так. Обязательно что-нибудь должно помешать.

Николай посмотрел на Хохрякова. У того был очень усталый вид – худой, осунувшийся, под глазами мешки.

– Ладно, – сказал Хохряков, вставая. – Поговорим. Вот в четверг бюро будет, тогда и поговорим. – Он опять посмотрел на часы. – А теперь, прости, мне надо еще протоколы и ведомости проверить. Мизин такого там наворачивает...

– 5 –

Бюро назначено было на шесть, но Чекмень опоздал. Минут двадцать все сидели, разговаривая преимущественно о погоде: зима, мол, закругляется, и если пойдет так дальше, то чего доброго через недельку можно будет уже и без пальто ходить.

Громобой, тоже вызванный на бюро – у него появились двойки, – сидел мрачный у окна и курил. Из членов бюро, кроме Хохрякова, за столом сидели Мизин, ассистент Никольцева Духанин и заместитель секретаря Гнедаш – бледный, с тонкими, совершенно бесцветными губами. На заседаниях он всегда сгибал и разгибал какую-нибудь проволочку или рвал лежавшую перед ним бумажку на мелкие клочки.

Потом прибежал запыхавшийся Левка Хорол, как всегда расстегнутый, красный, в сдвинутой на затылок кепке. На его присутствии, как комсорга группы и кандидата партии, настоял Николай, хотя сам Левка этого совсем не требовал.

– Ну на кой дьявол я там нужен? Без меня, что ли, не обойдутся? Затеял ты эту канитель, ну и ходи, а я тут при чем?

И стал вдруг доказывать, что вообще все это дело яйца выеденного не стоит. Он, мол, хорошо знает профессорскую среду, всегда они чем-то недовольны и на что-нибудь обижаются.

По этому поводу они с Николаем вроде как даже поссорились, и сейчас, придя на собрание, Левка прошел мимо него, сел в угол и, не глядя ни на кого, принялся листать журналы.

В половине седьмого пришел Чекмень.

– Прошу простить за опоздание, – весело, как всегда, сказал он, здороваясь за руку со всеми. – Ованесов задержал. Болтлив все-таки невероятно. – Он посмотрел на окно. – Может, откроем? Денек сегодня – май просто...

Но окно оказалось замазанным, и он просто скинул пиджак и повесил его на спинку

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
стула.

– Ну что ж, начнем, пожалуй?

– Начнем. – Хохряков зашелестел бумагами. – Мизин, веди протокол.

Николай взял папироску, протянутую ему через плечо Громобоем, и стал слушать.

Все шло, как и положено на любом собрании, обсуждающем повседневные, очередные дела. Кто-то говорит, остальные слушают, что-то рисуют, записывают; председатель время от времени постукивает карандашом по столу, чтоб не шумели.

Говорил Чекмень. Опершись коленом о стул и держась рукой за его спинку, он говорил, как всегда, легко и свободно, весело оглядываясь по сторонам, точно в кругу своих друзей. Вряд ли он может сообщить что-нибудь новое по сравнению с тем, что он говорил на собрании. Пока еще никаких окончательных решений не принято, еще все находится в подготовительной стадии, в стадии переговоров. Тем не менее, поскольку бюро пожелало выслушать его информацию, да и – чего греха таить! – в институте и так уже слишком много говорят, он скажет то, что ему известно.

Он улыбнулся и заговорил о том, что профессора Никольцева все хорошо знают, что он крупный специалист, человек с большими знаниями, воспитавший не одно поколение инженеров, и вряд ли найдется в институте кто-нибудь, кто так ценил и уважал бы Константина Николаевича, как сам Чекмень...

Тут он сделал небольшую паузу.

– Но есть одно маленькое «но». Противное маленькое «но», с которым всем нам раньше или позже придется столкнуться.

Он заговорил о том, что Константину Николаевичу, к сожалению, не тридцать и не сорок лет, а целых семьдесят, если не больше, и, что там ни говори, это, конечно, чувствуется. Сколько бы старик ни молодился, – а этот грешок за ним есть, – ему все-таки трудновато. И незачем закрывать на это глаза. Нет-нет да и напутает что-нибудь в плане, часто допускает неточности в своей работе, не всегда умеет уловить потребности жизни. А жизнь не стоит на месте, жизнь движется вперед.

– Константин Николаевич прекрасно знает предмет... – негромко перебил Духанин, подняв голову. Он сидел рядом с Николаем и сосредоточенно чистил бритвенным ножиком какое-то пятно на брюках.

– Знаю, знаю, Всеволод Андреевич. – Чекмень рассмеялся. – Кто же этого не знает? Но согласитесь сами: знание предмета и умение руководить – вещи все-таки различные. И если первого у Никольцева никто не отнимает – что есть, то есть, – то второе у него – ну, скажем так – не всегда получается. Короче, товарищи, чтоб вас не задерживать, я просто задам вам один вопрос: имеем ли мы право взваливать на плечи одного, притом, мягко выражаясь, пожилого, человека непосильное для него сейчас бремя, и не правильнее ли будет от какой-то части этой нагрузки его освободить, переложив ее на более молодые плечи?

Николай подумал: «Что же, как будто и верно; вероятно, действительно трудно и тем и другим заниматься...»

– Вы кончили? – спросил Хохряков.

– Кончил.

Мизин, писавший протокол, спросил:

– А кто эти молодые плечи?

– Молодые плечи – это Супрун Александр Георгиевич. Хохряков знает, я его знакомил с ним.

Кто-то из членов бюро спросил, знает ли Чекмень лично этого самого Супруна. Чекмень ответил, что знает, вместе с ним воевал, что человек он толковый,

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru энергичный, напористый, дело знает. Потом задали еще несколько малозначащих вопросов. Чекмень ответил. Мизин старательно все записывал; он умудрился уже заполнить три тетрадные страницы и вопросительно оглядывался, не задал ли еще кто-нибудь вопроса. Духанин оторвался от чистки своих брюк и спросил:

- А с Константином Николаевичем вы говорили об этом?
- О таких вещах обычно говорят, когда уже принято определенное решение.
- Значит, оно еще не принято?
- Насколько мне известно, решение принимает не декан, а директор. Это уж его прерогатива. Мне пока ничего не известно.

Духанин опять принялся за свои брюки.

- Ну что, будут еще вопросы? – спросил Хохряков. – Или все ясно?

Николай поднял руку. Хохряков кивнул головой.

- У меня к тебе два вопроса, Алексей Иванович, – сказал Николай, вставая. – Не можешь ли ты сказать, какие именно неточности и погрешности допускает Никольцев в своих планах, и что ты имел в виду, когда говорил, что он там чего-то не улавливает в жизни?

- Совершенно верно, – кивнул головой Чекмень. – Не всегда может уловить потребности жизни.

- Это первый вопрос. И второй: нормально ли, по-твоему, то, что до сегодняшнего дня об этом деле знает весь институт и не знает один только Никольцев?

- Что ж, могу ответить. – Чекмень встал. – На второй вопрос я ответил, по-моему, достаточно ясно, а на первый... Видишь ли, если говорить уж начистоту, то дело, конечно, не в этих погрешностях и неточностях в планах. Дело в другом. – Он слегка поморщился, как это делают всегда, когда говорят о том, о чем говорить не хочется. – Я знаю, что мне сейчас скажут. Скажут, что студенты, мол, любят старика, что он пользуется у них авторитетом и что нельзя, мол, его обижать, пусть уж дотягивает до конца. Ведь ты об этом думал, Митясов?

Николай кивнул головой.

- Так вот что я могу ответить на это, – продолжал Чекмень. – Авторитет и любовь – вещи, бесспорно, хорошие, но – давайте говорить прямо – важно еще и другое. Важно, какими путями этой любви и авторитета добиваются. Мы с вами, товарищи, не в игрушки сейчас играем. Мы заняты работой. И нелегкой работой. Не за горами конец года. Через каких-нибудь два месяца, даже меньше, – экзаменационная сессия. Одним словом, работы по горло, успевай только. И особенно тебе, Митясов, это должно быть понятно. Последнюю работу по химии еле-еле на тройку вытянул. Да и с «Основами марксизма» могло быть получше.

Николай отвел глаза. Чекмень выдержал паузу, потом продолжал:

- Одним словом, на всякого рода развлечения и шуточки у нас времени не хватает. Надо нажимать, нажимать повсюду. И вот это-то, к сожалению, не всегда доходит до сознания нашего уважаемого Константина Николаевича. Старик стал болтлив. К сожалению, это так. Говорят, болтливость – удел всех стариков. Возможно. Но когда она начинает переходить определенные границы, это, знаете ли, уже... – Чекмень развел руками, будто не находя подходящего слова. – Ну, скажите мне сами: к чему эти бесконечные паломничества к нему на квартиру? Сейчас, когда так дорога каждая минута. К чему все это? – Чекмень недоумевающе пожал плечами. – Старик ищет популярности у студентов. Ставит направо и налево четверки и пятерки, либеральничает, затаскивает людей к себе, угощает чайком с печеньем. Засоряет головы студентов всякой ерундой. А на это у нас нет ни времени, ни охоты. Одним словом, товарищи, – Чекмень заговорил совсем серьезно, – при всем уважении к профессору Никольцеву мы вынуждены сейчас отказаться от его услуг как заведующего кафедрой. Как руководитель он сейчас не годится. Это ясно. Нужен сейчас человек более энергичный, волевой, напористый, скажем прямо – с перспективами на будущее, а не в прошлое. Мы не собираемся отстранять его

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru совсем, какие-то часы консультаций у него останутся, но... – Чекмень опять развел руками. – Мне кажется, все достаточно понятно.

Он сел на свой стул и, как всякий человек, привыкший часто выступать, посмотрел на часы. Он говорил недолго – минут семь-восемь, не больше.

Несколько секунд все молчали. Гнедаш сгребал ладонью клочки разорванной бумаги и делал из них маленький холмик. Мизин все писал и писал протокол.

И тут вдруг заговорил Левка Хорол. С того самого момента, как Чекмень упомянул о паломничестве студентов к Никольцеву, он отложил журнал в сторону, вытащил папиросу, закурил, потом стал грызть ноготь – первый признак беспокойства.

– Можно мне? – глухо спросил он, вставая и подходя к столу.

Краска сошла с его лица – он был бледен, сосредоточен, от этого казался старше.

– Простите меня, товарищи, но я не понимаю, что сейчас происходит, – негромко, сдержанно начал Левка, глядя поочередно то на Хохрякова, то на Чекменя. – О чем в конце концов идет речь? О том, что профессору Никольцеву трудно в его возрасте руководить кафедрой, или о том, что он разлагает молодежь? Простите, Алексей Иванович, но я именно так вас понял. И вообще, какое отношение к заведыванию кафедрой имеет хождение студентов к Никольцеву на дом? И почему это хождение рассматривается как некий криминал?

Громобой, пересевший поближе к Николаю, задышал ему в ухо:

– Что это – криминал?

– Молчи – потом.

Левка посмотрел на Громобоя – тот улыбнулся и закрыл рот рукой, – потом перевел взгляд на Чекменя и, глядя ему прямо в глаза, продолжал:

– Вот вы говорили про чаек с печеньем. С какой-то брезгливостью говорили. Зачем? Зачем вы об этом говорили? При чем тут чай с печеньем? Сначала вы упоминаете о каких-то погрешностях в планах, потом о неумении идти в ногу с жизнью – это все-таки какие-то доказанные или недоказанные, но, во всяком случае, обвинения, – и вдруг все упирается в чай. – Он огляделся по сторонам – Вы что-нибудь понимаете, товарищи? Я – ничего.

Все молчали. Чекмень иронически улыбнулся.

– Да! Еще одна деталь. Весьма любопытная деталь. Что значит, что за Никольцевым останутся какие-то часы консультаций. А лекции? Вы, значит, его и с лекций собираетесь снять? А кто их читать будет? Супрун? Все тот же Супрун, напористый и энергичный, о котором вам, очевидно, больше нечего и сказать. А мы ведь не футбольную команду подбираем.

Он посмотрел на Чекменя, и в светло-голубых, обычно веселых глазах Хорола появилось выражение, которого Николай до сих пор никогда у него не замечал – пренебрежительно-брезгливое.

– И неужели вам не стыдно, Алексей Иванович? Неужели вы не испытываете неловкости, когда обо всем этом говорите? Трудно даже поверить.

Он кончил как-то неожиданно, на полуслове, провел рукой по торчавшим во все стороны волосам и вдруг направился к своему месту.

Чекмень улыбнулся. Он сидел на стуле, свободно перекинув руку через спинку. Хохряков вопросительно взглянул на него, но Чекмень только кивнул головой и повел бровями, что должно было обозначать, что, когда все выступят, он скажет свое слово. Хохряков посмотрел на Николая.

– Ты?

Николай встал. Как ему казалось, говорил он очень плохо. Почему-то волновался, не находил нужных слов, перескакивал с одного на другое, и все это слишком

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru громко, возбужденно. В двух или трех местах запнулся. В основном он пытался объяснить, почему студенты любят Никольцева. Говорил о том внимании и интересе, с которым студенты слушают его, об умении его к концу лекции все сжато суммировать, облегчая составление конспекта. Говорил – и понимал, что все это не то, что надо о чем-то другом, а другое не получалось.

Чекмень спокойно слушал, изредка иронически поглядывая на Николая.

Потом выступил Духанин. Высокий, нескладный, в узкоплечем пиджаке, измазанном мелом, он говорил сдержанно, не полемизируя с Чекменем, давая оценку Никольцеву как своему руководителю. О «чае с печеньем» тоже упомянул, сказав, что не видит в этом ничего дурного: «Почему студентам и не провести вечер у старика и не послушать его рассказов? Видел он много и рассказать об этом умеет».

Когда он кончил и, неловко цепляясь за стулья, вернулся на свое место, поднялся Чекмень.

– За какие-нибудь двадцать минут слово «чай» было повторено по крайней мере раз десять, – поправляя часы на руке, начал он. – Согласен с вами, дело, конечно, не в этом напитке. И когда я говорил о нем, я говорил, конечно, фигурально. Меня не поняли. Придется, очевидно, поставить точки над «і». Об этом не хотелось говорить, но, видимо, придется. Товарищ Хорол, – он сделал легкий поклон в его сторону, – очень темпераментно здесь выступил, обвиняя меня в нелогичности, в каком-то, очевидно, передергивании, озлобленности. Одним словом, не декан, а зверь. Нет, товарищ Хорол, я не зверь, а именно декан. И, как декан и как коммунист, отвечаю за студентов. Целиком отвечаю. И вот когда эти самые студенты, люди молодые, во многом еще не устоявшиеся, проводят целые вечера у человека, который... Не будем закрывать глаза – мы знаем профессора Никольцева как хорошего специалиста, но грош цена этому специалисту, если он не умеет строго, по-деловому подойти к студентам. Бесконечные пятерки Никольцева только разбалтывают людей, отбивают у них охоту заниматься, рожают недоучек. А то, что вместо знаний преподносит он им у себя дома, все это – ну, как бы сказать точнее... Человек все-таки – вы все это прекрасно знаете – два с половиной года провел в оккупации. Два с половиной года! Говорят, что он, мол, отказался от какой-то должности, которую ему предлагали в Стройуправлении. Может, это и верно. Но почему он отказался? Кто это знает? Кто может об этом рассказать? Люди, остававшиеся при немцах? Простите меня, но я таким людям не верю. А на какие средства он жил? Говорят, продавал книги? Простите меня, но я и этому не верю. На одних книжечках два с половиной года не проживешь. Да еще в таком возрасте. И вообще... – В голосе Чекменя послышалась вдруг резкая, несвойственная ему интонация. – И вообще, чтоб прекратить этот затянувшийся, бессмысленный спор, должен вам сказать...

Но сказать ему не удалось. Громобой вдруг поднялся и, упершись руками в спинку стула, перегнувшись через нее, весь красный, с надувшимися на шее жилами, не сказал, а выпалил:

– Старика прогнать хотите? Да?

Хохряков стукнул кулаком по столу.

– Громобой, Громобой! Спятил, что ли?

– Не спятил, а... Пусть только попробует старика убрать. Пусть только... – Он хотел еще что-то сказать, но подходящих слов не нашел. Покраснел еще больше и сел на свое место.

– 6 –

Весь вечер в «башне» только и разговора было, что о бюро. Громобой, красный и возбужденный, расхаживал в тесном пространстве между четырьмя койками и столом, грозился расправиться с Чекменем («по-нашему, по-ростовски, чтоб охоту отбить»), порывался куда-то идти. Николай сначала слушал, потом разозлился и прикрикнул на него. Громобой обиделся, надулся, лег на кровать и мгновенно заснул. Левка прикрыл его одеялом. В противоположность Громобою, он не так возмущался Чекменем, как Хохряковым.

– Чекмень – понятно, – говорил он, стоя в пальто и шапке в дверях и все не уходя. – Он корешка своего устраивает. И вообще у него что-то там, кажется, с



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Никольцевым из-за кафедры произошло...

– Ну, это со слов Быстрикова, – перебил Николай. – Источник не слишком верный.

– Ну и бог с ним, я не о нем сейчас, я о Хохрякове. Вот кто меня удивляет. Секретарь бюро называется!.. На его глазах обливают грязью человека, а он, вместо того чтобы встать и стукнуть кулаком по столу, сидит и рисует что-то на бумажке. А потом унылым голосом заявляет, что Чекмень, мол, дал не совсем правильную оценку Никольцеву. Не совсем...

Антон, завернувшись в одеяло (знаменитый его обогревательный прибор из канализационной трубы вдруг вышел из строя), сидел на кровати и, как человек мирный, больше всего в жизни ненавидевший скандалы, только сокрушался, глядя на всех своими печальными, всегда немного удивленными глазами.

– Кому все это нужно? Неужели нельзя жить мирно, дружно? Кончилась война, а тут, пожалуйста, между собой грызню заводят. Непонятные люди...

Витька Мальков в споре не принимал участия. Человек он был флегматичный, в высшей степени трезвый и на вещи смотрел с чисто философским спокойствием.

– И охота вам нервы портить, – говорил он, заворачивая остаток сала в бумагу. – Первый час уже. А завтра контрольная. Тушите свет. Хватит!

Свет в конце концов потушили. Легли спать.

Николай долго еще ворочался. Даже сейчас, после всего, что произошло на бюро, он пытался найти какое-то оправдание Алексею. Ведь, что ни говори, он знает его лучше, чем другие. Алексей упрям, не переносит, когда ему перечат, в пылу спора может брякнуть лишнее, но чтобы он был способен на подлость... И из-за чего? Из-за того, что, по словам этого трепача Быстрикова, старик отказался принять его к себе на кафедру? Челуха! На Никольцева это, правда, похоже, старик упрям, как пень. Но чтоб Алексей из-за этого стал обливать его грязью – не может быть! Этот Быстриков всегда все раньше и лучше других знает...

Но тут же всплывали в памяти последние слова Алексея, грубые, резкие и, если уж говорить то, что есть, смахивающие просто на ложный донос. «На одних книжечках два с половиной года не проживешь». Что ж, Никольцев в гестапо служил? Это он хотел сказать? И неужели он сам этому верит? Ведь все знают, что старик при немцах чуть не умер с голоду – последние месяцы пластом лежал, об этом и Степан, институтский сторож, рассказывал, – но работать к немцам не пошел. И вообще, почему все приняло такой нелепый оборот? Не из-за Левки же! Левка правильно говорил. Ерунда какая-то...

После лекции Николай зашел к Алексею.

Тот стоял над своим столом в накинутой на плечи шинели – очевидно, собирался уже уходить, – складывал какие-то бумаги в папку. Увидев Николая, мрачно посмотрел на него.

– Хорошо, что пришел. Поговорить надо.

– Для того и пришел, – так же мрачно ответил Николай.

Алексей старательно завязывал шнурки папки.

– Ты можешь мне объяснить вчерашнее твое поведение? – спросил он, не глядя.

– А ты свое – можешь? – в тон ему спросил Николай.

– Могу.

Алексей сунул папку в ящик, щелкнул замком и подошел к Николаю.

– Могу! А вот ты – не знаю. Все-таки можно было догадаться, что когда выступает член бюро, то делает он это не только на свой страх и риск. И если выступает, то, очевидно, перед этим все-таки кое с кем проконсультировался, поговорил. Неужели это так трудно понять?

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Очевидно, трудно, – сказал Николай.

– Я думал, ты умнее.

– Как видишь, нет.

Алексей вдруг рассмеялся.

– Ох, Николай, Николай!.. Смешной ты все-таки парень. Иногда вот смотрю я на тебя – жаль, что редко теперь видимся, – и думаю: парень как парень, а чего-то в тебе не хватает.

– Ума, очевидно. Сам сказал.

– Нет, не ума. Парень ты неглупый. А чего-то вот нет. Сам не пойму чего. Жизнь прожил нелегкую, воевал, – что к чему как будто должен знать. А вот...

Он, точно оценивая Николая, прищурил один глаз и посмотрел на него. Тот молча сидел на подоконнике и внимательно разглядывал кончик папиросы.

– Вот заступаетесь вы за старика. Похвально, ничего не скажешь. Со стороны смотреть, даже приятно. Старика, видите ли, обижают, а мы вот его в обиду не даем. Вот мы какие! А спросить вас, для чего вы это делаете, вы толком и не ответите. Ну, я понимаю еще, Хорол, интеллигентский сынок. Тянется к профессорам. Кастовое, так сказать. Но ты – простой парень, фронтовик... Погоди, погоди, не перебивай!

Алексей присел к Николаю на подоконник, поставил ногу на стул.

– Ну, посуди сам. Старикау семьдесят лет. Многого он не понимает, что поделаешь? Девятнадцатый век... Иногда такое ляпнет на совете, что мы только переглядываемся. Говоришь ему: нельзя, Константин Николаевич, двоек не ставить, за это нас тягают. А он только брови поднимает: люди, мол, только с фронта пришли, нельзя их сразу же и резать. И упрется, как бык, с места не сдвинешь.

– Все это я прекрасно понимаю, – сказал Николай, поднимая голову. – Но если уж...

– Нет, не понимаешь. Не понимаешь самого простого. Сел бы на мое место и сразу понял бы. Самые элементарные вещи до старика просто не доходят. Отстал от жизни по меньшей мере на пятьдесят лет, если не на все сто. Забывает, что сейчас все-таки сорок шестой год, а не какой-нибудь там шестьдесят шестой прошлого века – Алексей хлопнул Николая по коленке, словно ставя точку. – Так что напрасно вы, друзья, в бутылку лезете. Поверь мне, в этих вопросах нам все-таки кое-что виднее, чем вам.

Николай рассеянно смотрел в окно. Казалось, его больше всего интересуют сейчас гонявшиеся друг за другом по улице мальчишки.

– Хорошо, – сказал он наконец, повернувшись. – Допустим, что так. Ответь мне тогда на такой вопрос. Правда или нет, что Никольцев отказался принять тебя к себе на кафедру?

Алексей соскочил с подоконника, сунул руки в карманы шинели. Рассмеялся неестественным, деревянным смехом, каким смеются, когда смеяться совсем не хочется.

– Понятно... Нашли уже, значит, причину. Ну что же, пусть будет так...

Он подошел к столу, поискал ключ, один за другим запер все ящики, проверил их, снял с вешалки свою ушанку.

– Ну, а ты как? – сказал он, подходя к Николаю. – Рад уже? Развесил уши?

Николай смотрел куда-то мимо него.

– Нет, не рад, Алексей. Совсем не рад.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
– Чему не рад? Ну вот скажи мне, чему не рад? – Алексей стоял, засунув руки в карманы шинели и позванивая ключами. – Тому, что мы хотим укрепить наш институт? Этому ты не рад? Тому, что из армии наконец возвращаются люди – настоящие, крепкие, наши люди, люди, на которых можно опереться, люди, которым мы верим. Верим потому, что рядом с ними воевали, за одно воевали. Этому ты не рад? Что ж, твое дело, а мы будем драться за них. И если надо, пожертвуем даже никольцевыми, несмотря на все их знания и прочие там заслуги. Пожертвуем, потому что самое важное для нас сейчас – это сделать побольше инженеров, – из вас сделать, из тебя. И сделаем, поверь мне. Только делать будем своими руками. Не чужими, а своими, понял?

Алексей большими шагами ходил по комнате, задевая шинелью какие-то лежащие на столе чертежи, роняя их на пол, но не обращая на это внимания.

– И то, что ты сейчас защищаешь Никольцева, хочешь ты этого или не хочешь, но этим ты только оказываешь нам медвежью услугу. Неужели ты этого не видишь? Удивляюсь, честное слово, удивляюсь! Ведь он не наш человек, пойми ты это, не наш!

Алексей остановился вдруг перед Николаем – тот все еще сидел на подоконнике, – несколько секунд молча глядел на него, потом сказал с легкой усмешкой:

– Ты думаешь, я не понял, почему ты о кафедре заговорил? Не пускает, мол, туда, вот я и мщу ему за это. Так ведь? Думаешь, я не понял, к чему это? Все понял. И, если хочешь знать, плевал на это. Чего надо, я добьюсь, поверь мне! Но раз уж заговорили, так давай говорить. Ведь не пускает же, факт. Окопался на своей кафедре и сидит, как медведь в берлоге.

– А Духанин? Как-никак он все-таки член бюро.

Алексей только рукой махнул.

– Член бюро... Горе он наше, а не член бюро. И как его только выбрали? Черт его знает. Судак вяленый. Погряз с потрохами в своей лаборатории, клещами не вытащишь. Потому его Никольцев и терпит. Ученый, видите ли! Сидит сутками над иглой Вика и растворами. И никуда носа не сует. А мы суем. Вот в чем загвоздка. Мы таким, как Никольцев, мешаем, раздражаем их, мы им чужие. Понимаешь – чужие...

– Кто это мы? – тихо спросил Николай.

– Мы? – Алексей, сощурившись, посмотрел на него. – Мы, это мы, советские люди.

Николай поднял голову и посмотрел Алексею в глаза.

– А они, значит, не советские? Так, по-твоему? И поэтому их надо поливать помоями?

Алексей резким движением запахнул шинель и прошел к двери.

– Знаешь что? Если ты уж действительно так глуп, то говорить мне с тобой не о чем. Уходи!

Глаза его стали совсем маленькими, колючими. Лицо покраснело.

– И вообще можешь меня не учить. Обойдусь как-нибудь и без тебя. Лучше своих болтунов поучил бы, как на бюро себя держать. Того истерика давно уже пора гнать из института. И держим-то только из-за тебя. Чтоб не срамить тебя и твою группу. Думаешь, я не знаю, что у него там с физиком произошло? Все знаю. Тоже герой нашелся. Защитник угнетенных.

Николай молча, не мигая, смотрел на Алексея. Потом сказал очень тихо:

– Я не о нем говорю... Я о Никольцеве.

– А при чем тут ты, в конце концов?

Алексей стоял красный, в расстегнутой шинели, в сдвинутой набок ушанке.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
– А при том, что я коммунист и был на бюро и слышал, что ты там говорил, – делая ударение на каждом слове, сказал Николай.

– Что? Ну, что говорил?

– Ты лучше меня знаешь. Про оккупацию, про чай с печеньем. Зачем?

– А что, неправда? Не проторчал он три года в оккупации? Как миленький просидел. И черт его знает, чем еще там занимался. Книжечки продавал! Знаем мы эти книжечки. Статьи в газетах их сволочных небось пописывали, большевиков ругали, а потом, как наши стали приближаться, сразу вот такие вдруг оказались борцами за Советскую власть. Врут они все! Все, кто в оккупации был...

– И Шура была. И Черевичный был. Они, по-твоему, тоже врут?

– Это какой же Черевичный? Припадочный твой, долговязый? – Алексей рассмеялся. – Не лучше других, поверь мне. И обморокам его не верю. Липа все. Сплошная липа. Три четверти из них добровольно сдавались. Те, кто хотел...

Докончить ему не удалось. Николай соскочил с подоконника, схватил Алексея за грудь, за гимнастерку, рывком потянул к себе и с размаху ударил его по щеке – раз и два...

– 7 –

Когда Николая спрашивали, что он собирается сейчас предпринять, он отвечал:

– Ничего.

– То есть как это ничего?

– А вот так, ничего.

– И в райком не ходил?

– Не ходил.

– Станный ты человек. Что за пассивность?

– Пассивность или не пассивность, а ходить никуда не буду.

Спрашивающий пожимал плечами и отходил. Человека собираются исключать из партии, а он ходит себе по-прежнему в институт, готовится к лекциям. Чудак человек!

Громобой из-за этого даже разругался с Николаем, а Левка сказал, что если Николай не пойдет в партком, то он сам отправится к Курочкину и поговорит с ним обо всем. Даже тихий, мирный Антон удивлялся:

– Не понимаю я тебя, ей-богу, не понимаю.

Николай отмалчивался. Ему не хотелось спорить.

Внешне он был совершенно спокоен. В перерывах между лекциями разговаривал о стипендии, о Софочке, о первых троллейбусах, пошедших по городу, даже о Никольцеве, о котором рассказывали, что он подал заявление об уходе и по одной версии директор его подписал, а по другой – отказался. Но это не было спокойствием. Не было даже той внешней сдержанностью, которой пытаются часто скрыть горечь, или обиду, или злость. Это нельзя было назвать ни горечью, ни обидой, ни злостью. Ничего этого не было. Было что-то другое. Что-то более всего похожее на то, что ощущает человек, когда его ранят. Николай, например, когда его подстрелили в Люблине, не испытывал ни боли, ни страха, ни даже слабости (он сам дошел до медсанбата, находившегося в пяти километрах от города), просто было чувство какою-то недоумения. Вот была рука, и нет ее – висит как плеть. Даже пальцами не пошевелишь. Так вот и сейчас.

Впрочем, не совсем так...

Когда на партбюро, созванном по настоянию Чекменя в тот же день, через час после всего случившегося, Николая спросили, осуждает ли он свой поступок, он сказал:

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru «Нет». И сказал это после того, как Хохряков, отведя его перед бюро в сторону, посоветовал осудить свой поступок и извиниться перед Чекменем. Ребята потом говорили Николаю, что он вел себя неправильно, что в конце концов хотя Чекмень и получил по заслугам (Николай в подробности не вдавался, сказал, что ударил за Никольцева, и все), но лицо он все-таки официальное, декан, член бюро, и настаивать на том, что именно так надо было поступить, просто глупо. Но разве Николай настаивал? Просто не осудил. Дал и дал. Так ему, мерзавцу, и надо.

И вот именно в этом «дал и дал, так ему, мерзавцу, и надо» заключалось отличное от ощущений после ранения, если уж продолжать эту параллель. Там он совершенно точно знал, что поступил опрометчиво: незачем было перебегать площадь, когда на чердаках сидят автоматчики. Поступил глупо, по-мальчишески. А сейчас? Дал и дал. Так ему, мерзавцу, и надо. Николай не испытывал никакого раскаяния.

Это было первой, непосредственной реакцией. Потом все пошло вглубь.

Ну хорошо, думал Николай, допустим, он виноват. Даже не допустим, а действительно виноват. Он ударил человека и за это должен понести наказание. Какое – другой вопрос, должен, и все. Но почему же, черт возьми, никто на бюро не поинтересовался, за что он ударил Чекменя? Сам он не мог об этом говорить. Не мог и не хотел. Свидетелей при их разговоре не было, доказательств того, о чем они говорили, тоже нет, поэтому он и говорить об этом не будет. Пусть Чекмень расскажет, если ему не стыдно. Так он и сказал на бюро. Но Чекмень промолчал. Сидел в углу и молчал. Духанин, правда, попытался что-то спросить, но Гнедаш его сразу обрезал: «Что и отчего, нас сейчас не интересует. Речь идет о хулиганском, безобразном поступке, несовместимом с высоким званием члена партии. Вот об этом и будем говорить». Бельчиков и Мизин его поддержали. Хохряков тоже выступил против, хотя потом, когда голосовалось предложение Гнедаша – исключить из партии, не поддержал его, а голосовал за строгий выговор с предупреждением. Духанин тоже был за выговор. Чекмень в голосовании участия не принимал.

Потом, после бюро, Хохряков подошел к Николаю.

– Сходил бы ты все-таки в партком к Курочкину, поговорил бы... Видишь, как дело повернулось. Нехорошо повернулось.

– Больше, чем на бюро, не скажу. Пусть собрание решает.

Ребята за это тоже на него злятся. Уперся, мол, гордость свою показывает. Чудаки! А при чем тут гордость? Никакой гордости нет. Захочет Курочкин – вызовет, а раз не вызывает – что ходить.

На следующий день совершенно неожиданно подошла к нему в коридоре Валя. С таким же лицом, какое у нее было на балконе в последний раз, спокойно сказала:

– Я слыхала о том, что вчера было. Надеюсь, ты не будешь оправдываться?

– Не собираюсь, – ответил Николай и тут же спросил: – А если б стал?

– Это уж твое дело. Я бы не стала. Тебе не в чем оправдываться.

– То есть как не в чем? – Николай даже улыбнулся. – Ведь я, в некотором роде, все-таки...

Валя сердито на него посмотрела.

– Ничего смешного тут не вижу, – повернулась и пошла.

Вечером того же дня он опять встретил ее. При выходе из института. Но она прошла мимо, даже не посмотрев на него.

Партийное собрание, на котором должен был обсуждаться поступок Николая, назначено было сначала на четверг, а потом по каким-то причинам перенесено на пятницу.

В этот день Николай не пошел в институт. К десяти ему надо было на ВТЭК для очередного переосвидетельствования, а после ВТЭКа какие уж там занятия! Да и вообще захотелось побыть одному. Стала вдруг тяготить участливость товарищей.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru Трогала и в то же время тяготила. Левка приглашал на какой-то вечер в педагогический институт, Антон прибил набойки к сапогам и попришивал все пуговицы на шинели, на что у Николая за зиму не нашлось времени. Даже Витька Мальков и тот вдруг стал угощать салом. О собрании все молчали, как сговорились. Один только Громобой подмигнет иногда и скажет:

– Да, брат, переиграл тебя чекмень, – и вздохнет.

Николай и сам понимал это. Понимал, что всей этой историей он нисколько не помог Никольцеву, напротив – он отвел внимание на себя, на свой поступок, и теперь, вместо того чтоб нападать, вынужден сам держать ответ, ответ перед партсобранием...

В институте многие оборачиваются на Николая. Что и говорить, популярность не слишком соблазнительная. Николай с особой остротой почувствовал это сейчас, когда страсти несколько поулеглись и случившееся стало видно в какой-то перспективе. И то, что Курочкин, секретарь парткома, не вызвал его к себе, тоже тяготило. Ни Курочкин, ни директор, хотя в решении бюро есть пункт: «поставить вопрос перед дирекцией о возможности дальнейшего пребывания Митясова в институте». Но вот не вызывает... И хотя Николай по-прежнему своего решения ни к кому не ходить не менял, сейчас это уже было только упрямством.

Ребята, как всегда, к девяти ушли в институт. Николай до их ухода лежал, делая вид, что спит, хотя проснулся часов в шесть, когда было еще совсем темно. Никто его не будил, ходили на цыпочках, говорили шепотом. Потом ушли. Николай встал, сбегал за теплой водой, побрился. Потом подшил свежий подворотничок, начистил сапоги. Подсчитал деньги – на баню и стрижку хватит.

В бане повезло. Парилка работала, и Николай вместе с каким-то кряхтевшим от наслаждения стариком поддавали пару, а потом растирали друг другу спины. Старик похлопывал себя по животу и долго потом, красный как рак, сидел в раздевалке и вспоминал с таким же, как он, стариком банщиком в клеенчатом переднике, как банились в старину и почему было мясо, почему пуд овса.

После бани, посвежевший и немного расслабленный, Николай отправился на комиссию.

В поликлинике, как всегда на ВТЭке, толпилось несметное количество народу. Слонялись по коридорам, курили, в который уже раз рассказывали друг другу, где кого ранило.

Только к двум часам Николай попал в кабинет. Старенький, подслеповатый врач-невропатолог, в белой шапочке и очках полумесяцем, заставил его несколько раз сжать и разжать кулак, пощупал кисти, потом бицепсы на обеих руках.

– Любопытно, даже травматической атрофии нет. Физкультурой, что ли, занимаетесь?

– Вроде как, – ответил Николай.

– Небольшой тендовагинит на правой кисти еще есть, но это пройдет. – И взглянул на Николая поверх очков. – Ничего не скажешь, – годен. Что ж, можете опять воевать, молодой человек. – Он улыбнулся. – Надеюсь только, что не скоро придется.

Николай тоже улыбнулся, подумал: «Не дальше, как сегодня вечером, придется», – застегнул гимнастерку, ремень и вышел.

Стоял первый по-настоящему теплый весенний день, какие бывают на Украине в марте месяце, – ясный, ослепительно голубой, с веселыми ручейками вдоль тротуаров, первыми подснежниками и таким одуряющим воздухом, что в голову начинают лезть всякие глупые мысли и меньше всего хочется думать об институте и о всем с ним связанном.

Николай давно так не гулял – просто так, без дела. Нижняя часть бульвара Шевченко, против крытого рынка, обнесена забором. Возводится пьедестал для памятника Ленину. Николай подумал, что место не очень удачное: вот бы где-нибудь над Днепром, чтоб отовсюду видно было! Он пошел в сторону Днепра. Вдоль всей улицы разбирали завалы. Вокруг экскаватора – они недавно только появились – стояли толпы и смотрели. Николай тоже постоял. Потом смотрел, как устанавливают

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
фонари. О них, об этих фонарях, очень высоких, на гранитных постаментах, много говорили в городе. Говорили, что каждый из них стоит не то двадцать, не то сто двадцать тысяч и что лучше б вместо них построили несколько домов. Но Николаю фонари понравились – сразу стало как-то похоже на улицу.

Горластый мальчишка в отцовской ушанке с примятым мехом на месте бывшей звездочки, надрываясь, предлагал всем крохотные букетики подснежников. Стоили они по рублю. Николай порылся в карманах и нашел сорок копеек.

– Ладно, берите...

Николай понюхал букетик. Пахло травой. Весна... Скоро лед тронется. И саперы будут его взрывать. И, как в прошлом году, все будут прислушиваться к взрывам, и каждый что-нибудь скажет о войне. В прошлом году в это время она еще гроыхала. Где-то в Польше, в Германии. А сейчас вот фонари ставят, натягивают троллейбусный провод, садовники ходят с кривыми ножницами на длинных палках и обрезают ветки на молоденьких липах. Их посадили прошлой осенью. Привезли в ящиках и посадили.

Весна...

А за весной лето. В июне экзамены. Потом практика, каникулы. Совсем недавно еще строили планы, как и где их проводить. Антон приглашал к себе – у него там домик, Донец недалеко; Левка соблазнял Кавказом, мешки за плечи – и куда глаза глядят. На прошлой неделе еще говорили...

Дойдя до площади Сталина, Николай пошел вверх, мимо Верховного Совета, Арсенала, по разрытой Никольской, где переключивали трамвайные пути, потом повернул налево, вниз по тополевой аллее, к Аскольдовой могиле. Здесь пахло землей, древесной корой и еще чем-то, вероятно просто весной. Сквозь деревья белеет скованный льдом Днепр. Но по тропинкам на льду никто уже не ходит – запретили, видно.

Морячок в кургузом, в обтяжку, бушлате фотографирует девушку. Девушка облокотилась о гипсовую вазу, повернув голову в сторону: очевидно, считает, что в профиль она лучше. В руках у нее такой же, как у Николая, букетик подснежников. Волосы медно-рыжие, совсем как у Вали. Только Валя красивее – улыбкой, взглядом, черт его знает чем. Особенно когда смеется – покраснеет вся, и волосы как будто ярче становятся. И в последний раз она тоже была красивая, хотя и не смеялась. Серьезная такая, брови сдвинула, и только чуть-чуть губы дрогнули, когда сказала: «Ничего смешного тут не вижу...»

Милая Валя... Милая, смешная Валя, сержант рыжий... Была б ты сейчас здесь! Сейчас, сегодня...

Морячок подошел к Николаю и попросил щелкнуть их вдвоем с девушкой. Показал, куда надо смотреть и где нажать. Потом отошел и ловко вскочил на вазу. Девушка у его ног. Николай щелкнул, морячок поблагодарил.

– А день-то какой, а? Всем дням день.

И улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, весенняя, такая же, как день.

Да, всем дням день. Солнечный, ясный, прозрачный.

А вечером соберутся в физической аудитории, – в ней всегда проводят собрания, – и Мизин будет вести протокол, Гнедаш рвать бумажки, Бельчиков сумрачно на всех смотреть, а Хохряков...

– 8 –

Вчера у Николая произошел разговор с Хохряковым. Разговор довольно странный и неожиданный. Встретились они в коридоре поздно вечером. Все уже спали. Хохряков на корточках сидел возле «титана» и подбрасывал сырые щепки. Щепки шипели, трещали, горели плохо.

– Как жена? – спросил Николай.

– Ничего, спасибо, – ответил Хохряков, выгребая из подувала золу. – Дома уж.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Вчера перевез.

– Ну вот и хорошо, – сказал Николай и подсел.

Несколько минут оба молчали, глядя на огонь. Потом Хохряков спросил, не поворачивая головы:

– Так и не ходил к Курочкину?

– Нет.

– Напрасно. Он парень хороший.

Николай мрачно улыбнулся.

– Да, по-твоему, и Чекмень хороший. – И вдруг, глядя прямо на Хохрякова, спросил: – А чего вы все его боитесь?

– Боимся? Кто боится?

– Да все вы. И ты, и Гнедаш твой, и Мизин, и Бельчиков. Все боитесь. Смотреть стыдно было. На ваших глазах с человеком расправляются, а вы рисуночки на бумажках рисуете...

Хохряков молчал. Сжав губы, смотрел на огонь. Николаю вдруг показалось, что Хохряков может расценить его внезапно вспыхнувшую злость как обиду.

– Ты не думай, что я из самолюбия, – сказал он. – Расчехвостили, мол, меня, вот я и обиделся. Нет. Ей-богу, нет! Просто понять тебя не могу. Ну вот не могу... Непонятный ты для меня человек.

Хохряков помолчал, очевидно ожидая продолжения, потом, поскольку его не последовало, сказал:

– Может, объяснишь все-таки.

Николай пожал плечами. Ему вдруг вспомнился эпизод, свидетелем которого он был год тому назад, когда работал еще в райжилуправлении. Этот случай его тогда поразил, и он долго потом о нем думал. Сейчас он опять всплыл в памяти.

В райжилуправлении их было тогда всего два члена партии. Прикреплены они были к довольно большой партийной организации Музфабрики. И вот на одном партийном собрании обсуждалось неэтичное поведение коммуниста Серебрякова, бухгалтера из управления фабрики. Николай, как сейчас, помнит этого маленького, неказистого человека, в синей застиранной рубашке и потрепанном пиджаке, стоявшего на трибуне, бледного, взволнованного, поминутно пьющего воду. Его обвиняли в том, что он бросил жену с тремя детьми, отказывается платить алименты, а сам женился на другой и живет с ней припеваючи. Здесь же была и жена – толстая, краснолицая женщина в пуховом платке, говорившая жалобным голосом на одной ноте и рисовавшая своего бывшего мужа как изверга, тирана, мота и распутника. Глядя на самого Серебрякова – маленького, растерянного, в оборванном своем пиджачишке, трудно было поверить всему тому, что говорила бывшая супруга о его прошлой разгульной жизни и о том, что он теперь, мол, живет припеваючи. Но и она, и роскошный громогласный мужчина в очках – заместитель директора Калюжный, и еще два-три человека поменьше калибром с таким азартом доказывали вину Серебрякова, что у присутствовавших на собрании начинало складываться впечатление, что Серебряков действительно распутник, изверг и негодяй.

Рядом с Николаем сидел голубоглазый мальчик в военной форме без погон, с бесчисленным количеством планок на груди. Он внимательно слушал, поминутно закуривал, а один раз у него даже вырвалось:

– Свернут-таки ему шею, сволочи...

В перерыве Николай подошел к нему. Он с ним был уже знаком по предыдущим собраниям, как-то раз даже распил бутылку пива, и парень, в общем, понравился Николаю – воевал в Севастополе, несколько раз был ранен.



В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
– Ты хорошо знаешь этого самого Серебрякова? – спросил его Николай.

– Серебрякова? Конечно, знаю. Мухи не обидит.

– Значит, все, что здесь говорят...

– Чепуха! Сплошная чепуха. Счеты сводят... Грязная, в общем, история.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что не Серебряков бросил жену, а она его, потому что он не захотел помогать замдиректору в его комбинациях, которые должны были принести определенные выгоды и замдиректору и бухгалтеру, а заодно и его жене. Оказалось, что деньги он регулярно пересылает жене без всякого суда, по доброй воле, но он мешает замдиректору, и тот хочет от него избавиться и вот привлек даже бывшую жену. Об этом мало кто знает, но он, Кудрявцев, – так звали парня – в курсе всего и...

– Одним словом, ополчилась вся эта шайка на беднягу Серебрякова, и будет ему крышка. Факт.

– Так чего ж ты молчишь? выступи и скажи.

Парень удивленно на него посмотрел.

– Спасибо тебе в шапочку. С Калюжным только спутайся... Нет уж, как-нибудь без меня обойдется. Если хочешь, можешь выступить – ты здесь человек чужой, а я тебе все рассказал.

Дело, правда, кончилось и без вмешательства Николая, кончилось довольно плачевно для Калюжного: ему вклеили строгий выговор и сняли с работы, но Николай на всю жизнь запомнил этого красивого голубоглазого парня с его планками на груди, парня, который, видно, неплохо воевал и так искренне удивился предложению Николая.

Вот этого-то парня невольно и вспомнил сейчас Николай, глядя на Хохрякова, на его орден боевого Красного Знамени, на орден, который не так просто было получить.

Николай не рассказал этой истории Хохрякову – пожалел его. Он только сказал:

– Не понимаю я тебя. Войну провоевал, и как будто не плохо провоевал, а сейчас...

– Что сейчас? – тихо спросил Хохряков.

– Другие, когда надо, воюют и сейчас. А тебя я что-то не пойму.

Прошел мимо, шлепая надетыми на босу ногу калошами, маленький Кунык из Николаевой группы, потом вернулся обратно.

– Беседа у костра, да?

Хохряков молча кивнул головой и, только когда в конце коридора хлопнула за Куныком дверь, заговорил:

– Непонятный, значит, человек? Да? Кто его знает, может, и так, не знаю. Но как подумаешь... Иной раз лежишь вот так дома... И всякие мысли лезут. С проектом не ладится, и по статике тройку получил. С других требуешь, а сам – вот в глаза людям стыдно смотреть. Прожил ты тридцать восемь лет, и за эти тридцать восемь лет в четырех войнах участвовал, и шесть раз был ранен, и черт его знает, сколько осколков в тебе еще сидит. А живешь дурак дураком, дубина неотесанная. И читать надо. И в райкоме нажимают... – Он протянул руку: – Дай-ка я докурю. И вот лежишь так, в темноте, и голова трещит от всего этого. А утром встанешь – и начинается. То то, то се, то пятое, то десятое... Ты не думай, что я оправдываюсь. Просто так, прорвалось как-то. Обидно...

Хохряков говорил медленно, глухим, усталым голосом. Говорил о войне. Почти всю жизнь он провоевал. С двенадцати лет, когда потерял отца и мать, прилепился к проходившей части. Почти до самой Варшавы дошел. Потом коллективизация, кулачье. Две пули заработал, сюда и сюда. Рано женился, дети, жена все болеет. Потом

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Халхин-Гол, Финляндия, три года сейчас. Мирной жизни почти не видел. Воевал и думал: вот кончится все это, и тогда-то... Хотя бы теперь передохнуть, институт кончить, человеком стать...

Хохряков посмотрел на Николая.

– Вот я на тебя гляжу. Тоже трудно. Как и мне. Привычки нет. Все с бою берешь, с бою. Сдашь сопромат или статику – и лоб вытираешь, точно высоту штурмом взял. – Он поковырял в печке валявшимся рядом старым штыком. – Силенок не хватает, вот и бережем.

Титан давно уже кипел. Дрожал, фыркал, переливался через верх. Хохряков подставил чайник. Кран был неисправен, и большой жестяной чайник наполнялся долго. Наконец наполнился.

– Ты в Берлине был? – спросил он вдруг.

– Нет, не был. Я в сорок четвертом кончил.

– Я тоже не был.

– А что?

– Да так... Рассказы слышал. Говорят, последние дни трудно воевать было. – Он сунул еще одну чурку в огонь и закрыл дверцу. – Знали, что завтра-послезавтра мир, и не хотели умирать. Никто не хочет. Но люди все-таки воюют... А были и такие. Человек в Сталинграде воевал, в Севастополе, ничего не боялся, а тут вдруг прижимается к земле... Слышал про такое?

– Слышал.

Висевшие на стене часы прохрипели что-то неопределенное: то ли час, то ли два. Хохряков поднялся.

– Ну, да что говорить! Всего не выговоришь. Спать пора.

И они разошлись.

Откуда-то, неизвестно откуда, набежали тучки и закрыли собой солнце. Все вдруг стало серым, плоским. Поднялся ветер.

Николай запахнул шинель и пошел.

Шел и думал о вчерашнем разговоре. Вот тебе и Хохряков... Хороший как будто парень, а вот ведь как скрутило, к земле прижало. И тут же подумал: «А тебя не прижало? А? Вспомни-ка прошлый год, позапрошлый. Вспомни госпиталь, шестнадцатую квартиру с вечерними ее чаями, разговорами, Валерьян Сергеевичами? Может, потому и ушел оттуда, что почувствовал приближение этого самого? Может, потому и тянуло на фронт? А может, и сама эта тоска по фронту была тем же прижиманием к земле?»

Николай шел по дорожке вдоль днепровских обрывов. Откуда-то снизу, с набережной, доносились автомобильные гудки. Ветер стих. Опять появилось солнце. Николай расстегнулся – жарко.

Да, но все это уже позади. Преодолел все-таки! Преодолел это проклятое чувство, это самое хохряковское «силенок не хватает, бережем». А для кого бережем? Для себя, только для себя, чего уж тут скрывать? И кто это говорит? Человек, у которого вот здесь вот, в боковом кармане, маленькая красненькая книжечка, такая же самая, как та, которую хотят отнять сегодня у Николая. И за что? Именно за то, что в ту минуту он меньше всего думал о себе.

Николай в десятый, в сотый раз представил себе, как будет проходить сегодня собрание, как Гнедаш, поджав губы, внимательно будет слушать всех ораторов, кивая головой, а потом встанет и, сказав что-нибудь вроде того, что партию надо очищать от балласта, что никто не дал права Митясову позорить высокое звание коммуниста, предложит своим тихим скрипучим голосом отобрать у него партийный билет, и бюро его поддержит.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Отобратить? Черта с два! Попробуйте только! Не вы давали, не вам и отнимать. Не те вы люди, товарищи Гнедаш и Мизин. Посмотришь на вас: все у вас чистенько, гладенько, ни к чему не придерешься. План работы есть – всегда под рукой, в шкафу, в папочке, говорить вы умеете, очень даже убедительно умеете, заседания проводите, протоколы пишете, в райком относите их без опоздания, стенгазету выпускаете регулярно, отчеты партторгов заслушиваете. Что еще надо? Со стороны посмотреть – полный порядок. А копнешь поглубже – и страшно становится. Что Чекмень хочет, то и делается. Мешает Никольцев – пожалуйста, поможем избавиться. Понравился Супрун – тоже поможем, подскажем дирекции. Чекмень – хозяин. Он умен, он умеет выступать, он всегда знает, чего хочет, и всегда добьется этого. Так и сказал: «Чего надо, я добьюсь, поверь мне», – и добьется любыми средствами. Людей он знает. И на кого опереться – тоже знает. Хохряков, Гнедаш, Мизин, Бельчиков. Духанина к черту – мешает. Другого подберем. А «подбирать» – навязать, протасовать он умеет. Ох, как умеет! Вот и Николая чуть так не «подобрал». Когда в бюро его сватал. «Нам как раз такие, как ты, и нужны – фронтовики, настоящие хлопцы!» Теперь все понятно. Понятно, какие хлопцы ему были нужны. Холопы, а не хлопцы.

И вот эти люди, эти чекмени и гнедаши, будут пытаться решать его судьбу – быть ему в партии или нет. Правда, не только они будут решать. Будут и другие. Люди, которым он верит. Будет Левка. Ему он верит. И не потому, что он его товарищ, а просто потому, что он честный, настоящий коммунист. И Антону он верит. И Громобую верит. Даже Сергею, забулдыге Сергею, будь он сегодня на собрании, и то...

Николай вдруг остановился.

Сергею... Забулдыге Сергею... Почему он так подумал?

Вот Алексей говорит: мы настоящие, крепкие, хорошие, мы – советские... Сергей такого никогда не скажет. Ни настоящим, ни хорошим он себя не называл. Наоборот – дрянью, пьяницей, бузотером. Но это ж не так! Неправда это! Все это наносное, прилипшее, чужое.

«Хочется мне, чтоб у тебя все хорошо было», – вот где весь Сергей. Это тогда ночью он говорил, у себя на койке. «Иди к ней, иди к Шуре. Она тебя ждет. Тут что-то не так, я знаю». Сидел красный, злой, кулаком по коленке стучал. О себе, что ли, тогда думал? Или тогда, в первый раз, после разговора на лужайке, когда у Николая вдруг прорвалось все наружу? Кто Сергея просил к Шуре ходить? Никто. А он вот побежал. Для себя, что ли?

Потому-то и тянутся к нему люди. Потому и Николая потянуло. Когда все вверх тормашками полетело – к кому он побежал? К Сергею. К нему потянуло. Потянуло же! И не только его. Вот и Шуру потянуло. И Ваську его тянуло. Наверное же тянуло... А вот теперь и ребят аэроклубовских. Шура рассказывала: дня без него прожить не могут, оторвать от него нельзя. И Николай знает, что это так. Он видит Сергея среди этих мальчишек, видит влюбленные их глаза, – влюбленные потому, что для Сергея люди и работа, настоящая, живая работа – это все. Потому, что он умеет увлекаться. И не только увлекаться, но и увлечь других. Потому, что ему, как и самим этим мальчишкам, хочется сейчас, чтобы они скорее, как можно скорее стали летчиками, смелыми, сильными, которыми могла бы гордиться вся Советская страна. У него появилась цель – а без этого в жизни очень трудно, – и ради этой цели он ничего не пожалеет... И когда первый из его мальчишек поднимется в воздух на старенькой, собранной собственными руками «удвешке», он будет стоять на поле, задравши голову, и сердце у него будет сжиматься, но уши он уже затыкать не будет.

Эх, Сережка, Сережка, счастливый ты человек... И плюнь ты той цыганке в глаза, которая нагадала тебе какую-то ерунду – все, мол, у тебя будет: любовь, друзья, деньги, а счастья не будет. Дура она, твоя цыганка. Есть оно у тебя. И я рад за тебя, ей-богу же, рад. И за Шуру. Ей будет хорошо с тобой. Я по глазам ее понял. В тот самый вечер, в последний раз, когда был у тебя.

И не смей ты называть себя дрянью, пьяницей, бузотером. Слышишь – не смей! Совсем ты не такой. Вот сказал бы мне сегодня: «Не прав ты, Митясов, кругом не прав», – и я б поверил тебе. Но ты не сказал бы так, я знаю.

– 9 –

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
В президиум избрано было семь человек – Хохряков, Гнедаш, Мизин, два студента со второго курса, председатель профкома Кагальницкий и – Николая это удивило и обрадовало – Левка Хорол. Председательствовал один из второкурсников, спортивного вида, подстриженный под бокс парень в клетчатой ковбойке.

Николай забрался на самый верхний ряд – собрание было в физической аудитории, расположенной амфитеатром, – и просидел там до самого конца, не выходя даже покурить, – курил в кулак. Рядом сидел Черевичный и еще несколько ребят из его группы. Громобой не пришел. «Не пойду, – сказал он, – в пузырь еще полезу. Скажете, что болен».

Против обыкновения, открытая часть собрания тянулась очень долго. Бельчиков, шурша бумагами и без конца перечисляя фамилии лучших агитаторов, подводил итоги, прошедшим выборам в Верховный Совет. Потом двух человек принимали в партию.

Закрытая часть началась уже около девяти.

Хохряков кратко сообщил о случившемся и прочитал по бумажке решение бюро: «За хулиганский, антипартийный поступок, выразившийся в нанесении побоев декану факультета ПГС тов. Чекменю А.И. при исполнении им служебных обязанностей, рекомендовать партсобранию тов. Митясова Н.И., 1919 года рождения, члена ВКП(б) с 1942 года, русского, учащегося, из партии исключить».

«Мизинский язычок, – подумал Николай. – Бумажная душа...»

Председатель вопросительно посмотрел на Хохрякова, кашлянул, поправил лежавшие перед ним на столе бумаги.

– Так что ж, товарищи, предоставим, так сказать, слово...

– Разрешите мне, – раздалось откуда-то справа, снизу; Николай узнал голос Алексея.

Председатель посмотрел на Хохрякова. Тот кивнул головой.

– Пожалуйста, – сказал председатель.

Алексей подошел к кафедре.

– Буду краток, – твердо и громко сказал он. – Я нарочно взял слово первым, чтобы сразу внести ясность во все это дело. Не буду останавливаться на подробностях и оправдывать Митясова, но скажу прямо: кое-какие основания для его, выражаясь формулировкой решения бюро, хулиганского поступка были. Я незаслуженно оскорбил его товарища. Это раз. Второе. На заседании бюро я не голосовал, но если бы и голосовал, то воздержался бы. И не только потому, что я в этом деле лицо, так сказать, не совсем объективное, а потому, что считаю меру наказания – исключение из партии – слишком суровой. Думаю, что, учитывая фронтовое прошлое Митясова, можно ограничиться строгим выговором, а может, даже и выговором.

Антон толкнул Николая в бок. Видал, куда завернул? Николай пожал плечами. На бюро Алексей не говорил, сидел и молчал.

Слово взял Гнедаш. Бледный, худой, с поджатыми бескровными губами, стуча в такт своим словам карандашом по кафедре, он говорил, что удивлен выступлением Чекмена. К чему это благородство? Митясов совершил хулиганский, антипартийный поступок, совершил в стенах института. И совершил ли он его, обидясь за своего товарища, или по какой-либо другой причине, это никого не интересует. Он его совершил. Но и это не все. Митясов до сих пор считает, что поступил правильно. Он и на бюро так сказал. Вот до чего дошел! Интересно, что он сегодня скажет. Короче, Гнедаш считает, что резолюция бюро абсолютно правильная: из партии исключить (он так и сказал «исключить») и из института тоже, не нужны нам такие студенты. И коммунисты тоже.

Стукнув в последний раз карандашом по кафедре, он сел. Выступивший вслед за ним Мизин повторил в других выражениях то же самое. Он, как и Гнедаш, не согласен с Чекменем. Незачем оправдывать хулиганский, антипартийный поступок Митясова какими-то былыми его фронтовыми заслугами. Заслуги заслугами, но тем-то и позорна вся эта история, что затеял ее человек, для которого, как для члена

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru партии, понятие дисциплины должно быть абсолютно святым. Что ж это получится, если каждый студент станет доказывать свою правоту (допустим даже, что Митясов был в чем-то прав) таким способом. В армии за это трибунал – и точка. И Митясову это известно лучше, чем кому-либо другому. И вообще зачем доказывать то, что и без доказательств ясно? Митясов своей выходкой и своим дальнейшим поведением на бюро запятнал весь факультет, весь институт. Он заслуживает самого сурового наказания, поэтому Мизин голосовал и будет голосовать за исключение из партии.

Выступление Бельчикова ничем не отличалось от двух предыдущих. Он, так же как Гнедаш и Мизин, настаивал на исключении.

Духанин – четвертый член бюро – заявил, что считает меру наказания слишком суровой. Он и на бюро голосовал против исключения. И вообще он считает вопрос недостаточно разобранным. Пусть и Митясов и Чекмень выступят и скажут, что в конце концов между ними произошло и что послужило причиной конфликта. Он предлагает выслушать сейчас Митясова, тем более что полагается с этого начинать, а потом уже выступать другим товарищам.

Предложение это было принято.

Николай спустился по лестнице и подошел к кафедре. Он не совсем ясно представлял себе, о чем будет говорить. Он вообще не умел говорить. Особенно когда перед ним столько людей. Сидят и смотрят на него: а что он скажет? Левка нахмурился, грызет ноготь, тоже смотрит. Хохряков чинит карандаш. Откуда-то взялся Громобой. Уселся в первом ряду и тоже уставился. А ведь сказал, что не придет.

Спускаясь по лестнице, Николай встретился взглядом с Алексеем. Алексей сидел во втором ряду, прямо против трибуны. Когда Николай проходил мимо него, он поднял голову и снизу вверх посмотрел на Николая. В маленьких, чуть-чуть раскосых глазах его не было сейчас обычной иронии. В них было другое – и Николай успел это увидеть: я заступился за тебя, учти это. Ему вспомнился вдруг старенький врач в белой шапочке и очках полумесяцем: «Годен, ничего не скажешь. Можете опять воевать».

Что же, повоюем. Николай поднялся на трибуну.

Присутствовавшие на собрании говорили потом, что никто из них не подозревал, что Николай умеет выступать. Сначала говорил он тихо, в последних рядах даже плохо слышно было, но постепенно разошелся, а к концу, по выражению Громобоя, «рубанул правильно, на всю железку». Но Николай ничего этого не помнил. Он помнил только Громобоя, сидевшего перед ним в первом ряду, – его глаза, напряженно прикушенную губу, его «правильно!» в каком-то месте. Впоследствии выяснилось, что это испытанный ораторский прием – выбрать кого-то из публики и обращаться именно к нему. Николай этого не знал, но поступил именно так. И, может, именно это помогло ему собраться и преодолеть охватившее его волнение.

Витька Мальков, трезвый, в любых обстоятельствах совершенно трезвый и в этой трезвости доходивший до цинизма, перед самым собранием сказал ему, криво усмехаясь:

– Спокойствие прежде всего. Запомни это. И признание ошибок. Вот и все. Как в том анекдоте – лучше пять минут быть трусом, чем всю жизнь покойником, – и отошел, весьма довольный сказанной гадостью.

Но признания, о котором говорил Витька и на которое, очевидно, рассчитывали Гнедаш и Мизин, не получилось. Получилось совсем иначе. Николай говорил не долго, минут пять, не больше. Дело партийного собрания оценить его поступок, сказал он. Если виноват, надо осудить. Мера осуждения – как совесть подскажет присутствующим. Что касается самого Николая, то он, не оправдывая своего поведения, может сказать только одно – чувства вины, большой, непоправимой вины перед партией, которую хотят сейчас освободить от него, он не чувствует. На бюро он не говорил о причинах, заставивших его поступить так, как он поступил, не говорил потому, что у него не было доказательств. У него и сейчас их нет. Чекмень в любой момент может встать и сказать – «неправда», и ему нечем будет ответить. Единственное его доказательство – это честное слово коммуниста.

Николай сделал паузу, отпил воды из стакана.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru – я не буду оправдываться. И не хочу. Я ударил человека и за это понесу наказание. Я должен был сдержаться, знаю, но я не смог. Не смог потому, что когда в твоём присутствии...

Николай повернулся к Алексею. Тот сидел прямо перед ним, подперев руками щеки, и, не мигая, глядел куда-то в пространство между трибуной и президиумом.

– Вот он говорил сегодня, что оскорбил моего друга. Нет, ты не друга моего оскорбил. Ты оскорбил тех, кому, может быть, тяжелее всего пришлось в эту войну. Ты оскорбил всех, кто попал в плен, в фашистские лагеря, в оккупацию. Всех, без разбора... Мы знаем – там были разные люди. Были среди них и сволочи и предатели – все это мы знаем. Но сколько их было? И кто они? Кучка негодяев? А народ ждал нас. Кто мог – убежал в лес, партизанил. Да что говорить!.. Нужно быть последней сволочью, чтобы... Простите меня, товарищи, но я прямо скажу: я не знаю еще, как бы каждый из вас, сидящих здесь, поступил, если б в его присутствии человек, да еще коммунист, – нет, не коммунист, он только билет в кармане носит, – словом, если б такой вот человек сказал вам, что три четверти людей, попавших в плен, пошли туда добровольно, что все, кто под немцами были, – все, без разбора, подлецы и мерзавцы... Не знаю, что б вы сделали... Я ударил. Не выдержал и ударил. Вот и все... – Николай через плечо взглянул на Алексея. – Теперь можешь ты говорить. Если у тебя совесть еще есть. Я все сказал.

Когда Николай вернулся на свое место, Антон молча, не поворачиваясь, взял его руку, чуть повыше локтя, и крепко сжал. Только сейчас Николай почувствовал волнение – во рту пересохло, неистово заколотилось сердце.

В зале – тишина. Только с улицы в открытое окно время от времени доносится скрежещущий звук заворачивающего на углу трамвая.

Председатель долго просматривает лежащие перед ним на столе бумаги, перекладывает их с места на место, наконец отрывается от них и вопросительно смотрит на Чекменя:

– Вы будете?

Чекмень, не вставая с места, говорит:

– Я думаю, пусть товарищи сначала выскажутся. Я подожду. Вот товарищ Хорол, я вижу, хочет.

Левка поднимает голову. Он бледен, он всегда бледнеет, когда волнуется.

– Хочу, – говорит он. – Вы не ошиблись, – и встает.

Говорит он негромко, с тем подчеркнутым спокойствием, которое бывает у людей, хотящих скрыть свое волнение.

– Я не собираюсь оправдывать Митясова, – начинает он. – Свое отношение к его поступку я ему уже высказал. И совершенно прав был Мизин, когда сказал, что будь ты даже тысячу раз прав, нельзя таким способом, как Митясов, доказывать свою правоту. Но дело сейчас не в этом, товарищи...

– А в чем же? – вставляет сидящий на краю стола Мизин. – Ведь мы, по-моему, дело Митясова рассматриваем, а не кого-либо другого.

– Вот об этом-то я и хочу сказать, товарищ Мизин. О том, что хотя мы и рассматриваем дело, но не совсем то дело и не совсем так рассматриваем. Самое простое, товарищи, судить человека так, как мы его сейчас судим. Оскорбил? Оскорбил. Виноват? Виноват. Исключить? Исключить. Записали в протокол – и по домам. Просто и ясно. Нет, не просто и не ясно. С другого конца начинать надо. Оскорбил? Да, оскорбил. Виноват? Да, виноват. Но он ли один? Вот тут-то и заковыка. Кто больше виноват – Митясов или Чекмень? Митясов в том, что ударил, или Чекмень в том, что довел его до этого. А почему довел – вы знаете. Знаете и молчите...

– Кто это – вы? – перебивает Гнедаш. Он сидит рядом с Хоролом и старательно сворачивает из бумаги фунтики.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru – Кто? Хотя бы вы, уважаемый товарищ Гнедаш. И вы, и Мизин, и Бельчиков, и Хохлаков, все те, кто прекрасно знает, в чем дело, и молчит. Все вы молчите. Все, кроме Духанина. Молчите, потому что куда проще расправиться с Митясовым, чем не угодить Чекменю. Чекмень все-таки декан, все мы под ним ходим...

Кто-то из президиума – Николай не разобрал, то ли тот же Гнедаш, то ли Бельчиков – возмутился:

– Выбирайте свои выражения...

Председатель, явно растерявшись, постучал стеклянной пробкой о графин.

– Товарищи, товарищи, порядочек! – И взглянув на Левку: – Вы кончили?

– Нет, не кончил. – Левка поднял руку, словно успокаивая зал. Но в зале тишина. Напряженная тишина. Никто даже не кашляет. – Мы обсуждаем сейчас персональное дело Митясова. Но есть и другое дело, не менее, а, может быть, даже и более важное, чем это. Дело, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Я говорю о поступке товарища Чекменя, который на позапрошлом бюро пытался очернить и оклеветать профессора Никольцева, при полном попустительстве членов бюро, виноват, большинства членов бюро. Я считаю, что партсобрание должно разобрать этот случай, тем более что, судя по всему, кое-кто из сидящих здесь заинтересован в том, чтоб сегодняшним митясовским делом отвлечь внимание от другого дела, куда более важного, – никольцевского, вернее чекменевского, – Левка вытер ладонью вспотевший лоб. – Короче. Вношу предложение: в повестку дня, после пункта: «Персональное дело товарища Митясова», внести еще один пункт: «Персональное дело товарища Чекменя».

Сказал и сел.

Тишина кончилась. Зал загудел. Председатель попытался поставить предложение Хорола на голосование. Гнедаш запротестовал – в ходе собрания нельзя менять повестки дня, это надо было делать вначале, когда председатель спрашивал, будут ли у кого-нибудь дополнения. Кто-то крикнул: «формальный подход!» Тогда вмешался Мизин. Покрывая своим могучим басом шум, он стал доказывать, что всякий вопрос, прежде чем его поставить на партсобрание, должен быть заслушан на партбюро и что поскольку вопрос о Чекмене до сих пор никем не поднимался, то...

– Испугались? – крикнул кто-то из зала. – Ставь на голосование!

Поднявшемуся на трибуну Бельчикову не дали говорить. Махнув рукой, он сошел с трибуны.

– Голосую предложение Хорола, – с трудом перекрывая шум, объявляет председатель. Сразу становится тихо. – Кто «за»? – Поднимаются руки. – Большинство. Ясно. Кто «против»? Раз, два, три, четыре, пять... Десять против. Кто воздержался? Три. Предложение принято.

Опять шум. Хлопки. Кто-то с места просит слова и, когда ему наконец дают, спрашивает, почему на собрании нет секретаря парткома.

– Курочкин болен! – выкрикивает с места Гнедаш.

– А почему из райкома никого нет? Вы райком-то поставили в известность?

Мизин наклоняется к Хохлакову, потом встает и дает путаное объяснение: должен был быть инструктор райкома, но его куда-то срочно вызвали, а когда позвонили в райком, оказалось, что там никого уже нет. Ответ этот вызывает еще больший шум. С разных концов зала доносятся выкрики: «Чекмень! Чекмень! Пусть Чекмень выступит!»

Чекмень через плечо оборачивается, оглядывает зал и медленно поднимается, упершись руками в парту. Сразу становится тихо.

– Что ж, – говорит он, полуобернувшись к залу, – могу сказать. Первое. Все, что говорил здесь Митясов, – ложь и клевета!

Николай, не отрываясь, смотрит на него. Ложь и клевета! Так. То, чего он ждал и

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru чего боялся, произошло. Ложь и клевета! Как докажешь, что это не так? Как докажешь, что это не ложь и не клевета? Как? Доказательств нет... Ну и пусть... Важно другое, важно, что Чекмень испугался. Побоялся признаться. Вот что важно – не может признаться в том, что сказал...

Николай что-то пропустил. Чекмень стоит все так же, полуобернувшись к залу и слегка постукивая ладонью по парте.

– ...не мне этим заниматься, и не мне оправдываться. Я обвиняю Митясова в клевете. Нет, не только в клевете, – в желании подорвать мой авторитет как декана и как члена бюро. Но не выйдет, товарищ Митясов, смею вас уверить. И вы, Хорол, тоже учтите это. Учтите хорошенько, потому что мы еще поговорим на эту тему. И о вас поговорим, товарищ Хорол, и о Митясове, и о вашем подзащитном, главном вдохновителе всего вашего антипартийного поведения. Но не сегодня, и не здесь поговорим, а в другой раз и в другом месте... Вот тогда я уже все скажу...

Он хлопнул крышкой парты и сел.

– Видал, каков? – дышит в самое ухо Николаю Антон. – Оттянуть хочет, оттянуть, черт, хочет, подготовиться...

Зал, точно очнувшись, опять начинает гудеть. Откуда-то с самого верха доносится: «В каком это месте? Сегодня, сегодня пусть говорит...» И вот тут-то среди общего гула слово берет наконец Хохряков.

Он медленно выходит из-за стола в своем поношенном пиджаке, с орденом на груди, поднимается на кафедру, осматривает всех своим грустным, как всегда усталым, взглядом (в аудитории сразу становится опять тихо), проводит рукой по волосам.

– Совершенно ясно, товарищи, – говорит он, откашливаясь, – что провели мы это голосование или не провели, но рассматривать вопрос о товарище Чекмене мы не можем.

– Можем! Можем! Опять сдрейфили!

Хохряков поднимает два пальца, дожидается, пока опять не становится тихо.

– Повторяю, товарищи, – очень тихо, но твердо, глядя куда-то поверх голов, говорит он, – повторяю, рассматривать его мы сейчас не будем. Не будем, потому что с кондачка такие вопросы не решаются. На то вы и избрали нас в члены бюро. («Напрасно избрали!» – голос Громобоя.) Это уж другой вопрос – напрасно или не напрасно, но пока что нас никто не переизбирал, и я до сих пор еще секретарь. – Он делает паузу, точно ожидая возражений. Но все молчат. – И, как секретарь, заявляю: ни один неподготовленный вопрос на стихийное обсуждение мы ставить не будем. Ясно или не ясно? («Не очень!» – Хохряков пропускает реплику мимо ушей.) И по этой же причине, товарищи, мы не будем рассматривать сейчас дело Митясова. Не будем, потому что... – Опять пауза, глоток воды из стакана. – Просто потому, что оно не подготовлено, товарищи. – В зале шепоток. – Более того, скажу и другое. Во всей этой истории, которая произошла между Митясовым и Чекменем, я, в первую очередь, виню нас, бюро (голос Гнедаша: «Ого!») и себя особенно, как его секретаря. В подробности – отчего и почему – вдаваться сейчас не буду. Вношу предложение: вопрос отложить, бюро разобраться во всем этом деле и поставить его на следующем собрании. Прошу проголосовать мое предложение.

Предложение принимается. Против трое – Гнедаш, Мизин и Бельчиков. Воздержавшийся один – Алексей.

На этом собрание кончается.

– 10 –

Валя сидела в библиотеке и читала «Кентервильское привидение». Она знает его наизусть, но ничего другое в голову сейчас не лезет. К тому же в библиотеке, кроме этого томика, из английских книг есть только технические журналы и Диккенс, которого Валя не любит.

В десять часов библиотека закрывается, но библиотекарша что-то возится с каталогом, значит можно еще посидеть. Валя сказала ей, что дома у нее дымит печка и невозможно работать.



В половине одиннадцатого на лестнице раздается топот. Валя торопливо сует книжку на полку («Что-то подозрительно рано кончилось!») и, забыв даже попрощаться с библиотекаршей, выходит в вестибюль.

В раздевалке уже толпится народ. Из разговора трудно что-либо понять. Сумбур какой-то. Валя подходит к одному из первокурсников и, хотя знает, что не положено осведомляться о том, что было на закрытом партсобрании, спрашивает, будто между делом, натягивая пальто: «Ну, как?» Парень весело улыбается: «Дали дрозда!» – и убегает. Ничего не понятно. Кто кому?

За спиной Вали слышен голос Николая: «И мое возьми, Антон, я сейчас». Валя оборачивается. Николая уже нет. Группа студентов, человек в десять, стоя у барьера раздевалки, подсчитывает деньги. Увидев Валу, один из них – он из Валиной группы, громогласный, всегда о чем-то спорящий Громобой, весело подмигивает ей:

– Ресурсы подсчитываем. Выходной завтра.

Кто-то говорит:

– Почему выходной? Суббота завтра.

– Ну, не выходной, суббота. Один черт.

Откуда-то появляется Николай. Гимнастерка на нем расстегнута. Вытирает шею платком.

Зажав между коленями планшетку, он влезает в шинель. И в этот момент глаза их встречаются. Они смотрят друг на друга поверх чьих-то голов и спин. Николай улыбается. Моргает глазами. Потом подходит и, продолжая натягивать шинель, говорит:

– Здравствуй, Валя.

– Здравствуй, – говорит Валя.

Ночь. Мартовская ночь. Темная, почти без звезд, мартовская ночь. Иногда поднимается ветер. Он несет откуда-то из-за города запах полей, леса, земли, талого снега. Шумит ветвями, срывает с головы шапку, забирается в расстегнутый ворот, в уши, в ноздри. И вдруг прекращается. Так же неожиданно, как начался.

Чуть-чуть морозит. Подмерзли ручейки вдоль тротуаров. На улицах пусто. Только сторожа у магазинов. Который же это час? Час, два, три?

– ...и самое странное то, что я знал, что так будет. То есть не так, не так именно, как было, и не то что знал... Ну, как бы это сказать? Вот на фронте, например, так бывало. Иной раз кругом тихо-тихо, ни одного выстрела, как будто и войны нет, а внутри, вот здесь, что-то сжимается, тоска... А другой раз, наоборот: ад кромешный, голоса своего не слышишь, земля дрожит, а ты вот спокоен, уверен как-то. Бывало у тебя такое? У меня – да. И сейчас вот так было. Ну, не то, чтоб совсем спокоен был, – волновался, конечно, особенно когда на трибуну вышел, а кругом головы, головы, головы... Но посмотрю на Громобоя – он как раз передо мной сидел, – да ты его знаешь, в твоей группе учится, красивый малый такой, в портуpee ходит, посмотришь на него, и сразу легче становится. Вот он сидит, думаю, а там наверху Антон, и Петровский, и Сагайдак. И за спиной Левка. Ты знаешь Левку? Хорола? Растрепанный такой, Не можешь не знать. Его все знают. Ну, я познакомлю. И с Антоном, и с Громобоем, и с Куныком нашим маленьким, со всеми познакомлю. Да ты застегнись. Фронтоничка фронтоничкой, а март месяц, знаешь, какой? Нет, самое важное не это. Я о чем-то другом хотел. Вот черт... Ага! Помнишь, когда я с комиссии вернулся и мы пили с Яшкой, а Муня дрых? И ты тут пришла. И мы немножко поцапались. А потом сидели с мамой и чай пили. Потом спать разошлись. Я долго тогда не спал. Тоска напала. По фронту, по хлопцам. И потом бывало, часто бывало. Тоскуешь, грустишь: один, мол, остался, нет хлопцев, нет солдат твоих... А ведь за них отвечать надо было. У каждого жена, ребята, мамаша. И задание выполнять надо. И вот посылаешь на смерть. Тяжело. А вот как не стало всего этого, еще тяжелее стало. Почему? Ну вот скажи почему? Да застегнись ты,

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru  
Христа ради, вот упрямая! В отца, что ли? Анна Пантелеймоновна совсем не такая была.

Они идут по пустынным, затихшим улицам, сворачивают направо, налево, проходят через какие-то пустыри, мимо заборов новостроек, опять выходят на улицу, опять налево, направо – куда их черт занес? А не все ли равно...

– Вот ты объясни мне, Валя... (Господи, как он много сегодня говорит!) Объясни мне, почему люди такие разные? Нет, не то... Ты не смейся, я не то хотел сказать... Не умею я говорить, что подделаешь. Начнем с примеров, это легче. Вот три человека – Алексей, Хохряков и Левка. И Сергей – четвертый. Ты его не знаешь, – подбитый летчик, безногий, чудесный парень. Только в водке чуть не утонул. Чего ты смеешься? Чудесный, да. И ничего смешного тут нет. Познакомишься, сама поймешь... Так вот, все четверо они воевали. И каждый из них узнал на войне то, что и все узнали. И страх, и усталость дикую, когда ни о чем думать не хочется, и то, что кровь из носу, а надо выполнять приказ, и что сидишь вот ты с человеком и покуливаешь, а через минуту от этого человека, может, ничего не останется. И не останется потому, что ты ему сказал – «иди». И сказал ему это потому, что он лучше других, а не хуже. В общем, ты все знаешь... Так вот четыре человека, и все четверо воевали. И остались живы. Но ведь каждый остался жить по-своему. Вот в чем загвоздка. Один только для себя, а другой... Это очень важное в жизни – уметь жить не для одного себя. А то уставишься в собственный пуп и смотришь. Или, как страус, голову под крыло. Я долго так же сидел. И, знаешь, казалось даже, что хорошо. Потом выглянул. Повертел головой – направо, налево. Кинулся в институт. Зарылся в книжки. С головой зарылся. Книжки, книжки, книжки... И стало легче. Ну, чего ты смотришь? Как будто не знаешь, почему тяжело было. Знаешь же, все знаешь! Сколько раз я хотел подойти к тебе. Но посмотришь – идет, брови сдвинула, не подходи! – и не подходишь. Чем я хуже ее? Да, так о чем это я? О книжках? Да, так вот, так и получилось. Забивал ими голову, чтобы о другом не думать. Вроде как Хохряков. Ну, не совсем вроде, у него по другой причине, но оба мы уши заткнули. Вот это самое страшное. Не знаю, что страшней: Алексей или это... Черт его знает... А я ведь верил ему, понимаешь, верил Алексею. Даже завидовал в чем-то. Умный, образованный, что еще надо. А вот сегодня смотрел я на него... Ты б видела, как он себя держал! Глазом не сморгнул. От всего отрекся. В другом месте, мол, поговорим. Черта с два! Мы там тоже поговорим. Посмотрим еще, кто – кого... Господи, до чего же все-таки ошибаешься в людях. Вот Левка, например. Каким я его считал? Хороший, ничего не скажешь. Веселый, неунывающий, всегда рад помочь. Но вот посмотришь на него и думаешь: все у тебя гладко, хорошо, слишком хорошо. Даже разозлился на него как-то: утруждать, мол, себя не хочешь, гладенькую жизнь эту свою портить. А вот, оказывается, ошибся. И в Сережке ошибся. Нет, не ошибся, – не понял просто. С первого взгляда его не сразу поймешь. Ворчит, ругается, всем недоволен. А присмотришься, подойдешь поближе, и вдруг, оказывается... Ну, что ты смотришь на меня? Надоел? Заговорил тебя? Ну ладно, помолчу. Говори ты...

И опять говорит. Говорит, говорит, говорит... А Валя слушает. Прижалась к нему – так тепло с этой стороны, и рука его – большая, теплая, она сквозь перчатку чувствует. Идет рядом и слушает. Ему хочется выговориться – она понимает, у него сегодня такой день, но все-таки... Ну да ладно, говори, говори, о чем хочешь.

Ведь прошло столько времени – сентябрь, октябрь, ноябрь... Господи, почти семь месяцев!..

– А вот и то место, где мы с тобой лазили, помнишь? – Они у решетки Ботанического сада.

– Перемахнем, а?

– Погоди. Пусть милиционер отойдет.

В саду темно-темно – на улице хоть фонари, – под ногами грязь, скользко.

– Держись за меня, крепче держись!

Опять поднялся ветер. Деревья шумят.

– Ты любишь, когда они шумят?

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

- Люблю.
- А еще что?
- Что что?
- Еще что любишь?
- Еще что? Когда паровозы так гудят. И почему ночью всегда так слышно?
- Не знаю. А еще что?
- Слушай, я куда-то провалилась.
- Ну вот, говорил тебе – держись крепче. Фронтовичка...
- Здесь, по-моему, болото.
- Какое тут может быть болото?
- А я говорю – болото. У меня полон сапог воды.
- Давай тогда сюда. Держись за шею. Раз...
- Ну и хватит. Дальше я сама пойду. Ну вот, до того дерева, и хватит. Там уже сухо.
- Сухо, сухо... Тебе только по асфальту ходить.
- Ну и ладно.

Пауза.

- А который это час, интересно?
- Черт его знает. Не все ли равно?
- А ребята?
- Что ребята?
- Ведь они ждут тебя.
- Не ждут. Они все понимают.
- Что – все?
- То, чего ты не понимаешь.
- Ох, и глупый же ты...

Пауза.

- Слушай, а зачем ты тогда подошла?
- Когда? Во вторник?
- Да.
- Просто так...
- И действительно считала, что не надо оправдываться?
- Не знаю, может, и думала. А потом рассердилась на тебя.
- Почему?
- Почему, почему... Сам догадайся.

В родном городе. Виктор Платонович Некрасов nekrasovvictor.ru

– Не могу. Я поглупел. Ну вот совсем поглупел. И вообще давай сядем на эту скамейку.

– Она мокрая.

– Ну и ладно. Мы все равно на нее сядем. Сядем, и я тебе расскажу об одном товарище.

– Опять о Левке или Сергее своем? («Господи, опять о смысле жизни?»)»)

– Нет, не о Левке. О другом. Ты его не знаешь. Так себе, рядовой товарищ. Жил-был, потом воевал, потом попал в госпиталь. Вот здесь вот этот госпиталь был на горе. Потом познакомился он с одной девушкой. А девушка была глупенькая, ничего не понимала. Потом они поссорились...

– По его вине...

– А ты ее разве знаешь?

– Встречала...

– Тогда ты должна знать, чем у них все кончилось. А?

– А разве кончилось?

Но на этом поставим точку. Хватит. На вокзальных часах уже четверть пятого. И на востоке уже стало светать – видны трубы, антенны. И вообще ничего умного эти товарищи сегодня уже не скажут. Не будем их винить в этом...

1954

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://nekrasovvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!